

Est. A-11319

I-35

Д. Кудрявскій.

# Психологія и языкознаніе.

(По поводу новѣйшихъ работъ Вундта и Дельбрюка).



Юрьевъ.

Типографія К. Маттисена.

1905.

5060

I-35

Д. Кудрявскій.

# Психологія и языкознаніе.

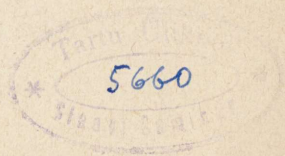
(По поводу новѣйшихъ работъ Вундта и Дельбрюка).



Юрьевъ.

Типографія К. Маттисена.

1905.



По постановленію историко-филологическаго факультета печатать  
разрѣшается.

Юрьевъ, 2 іюня 1905 г.

Деканъ Я. Озе.

№ 53.

TARTU ÜLIKOOLI  
RAAMATUKOGU

i 32320413

## Предисловіе.

---

Предлагаемая читателямъ брошюра представляетъ изъ себя перепечатку моей статьи, помѣщенной подъ тѣмъ же заглавіемъ въ Извѣстіяхъ отдѣленія русск. языка и словесности Имп. Ак. Н. (т. IX. ин. 2, стр. 177—256; 1904 г.). Измѣненія, которыя сдѣланы мною, сводятся лишь къ исправленію опечатокъ, нѣкоторыхъ шероховатостей стиля и другихъ мелочей.

Юрьевъ (Дерптъ)  
іюнь 1905 г.

**Д. Кудрявскій.**

## Психологія и языкознаніе.

(По поводу новѣйшихъ работъ Вундта и Дельбрюка).

Послѣдній годъ прошлаго, девятнадцатаго вѣка ознаменовался крупнымъ явленіемъ въ области разработки вопросовъ общаго языкознанія. Извѣстный психологъ и философъ Вильгельмъ Вундтъ выпустилъ первый томъ своего широко задуманнаго труда, подъ заглавіемъ „Народная психологія. Изслѣдованіе законовъ развитія языка, міа и обычая. Томъ первый. Языкъ“<sup>1)</sup>. Этотъ первый томъ представляетъ изъ себя двѣ книги (части), каждая объемомъ болѣе 600 страницъ. Никогда еще до сихъ поръ общіе вопросы языкознанія не излагались съ такою подробностью, а главное — никогда еще спеціалистъ психологъ не брался за освѣщеніе фактовъ языкознанія, и этотъ первый опытъ принадлежитъ перу одного изъ самыхъ выдающихся психологовъ современности, Вильгельму Вундту. Такое рѣдкое явленіе естественно не могло пройти незамѣченнымъ, и первыми откликнулись на него языковѣды. Іенскій профессоръ Бертольдъ Дельбрюкъ, извѣстный какъ своими трудами по сравнительному синтаксису, такъ и краткимъ, но глубоко-серьезнымъ „Введеніемъ въ изученіе языка“ (Einleitung in das Sprachstudium<sup>3</sup>. Leipzig 1893;

1) Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte von Wilhelm Wundt. Erster Band. Die Sprache. Erster Theil (XV+627). Zweiter Theil (X+644). Leipzig. 1900.

четвертое, вновь переработанное издание появилось въ 1904 году подъ заглавіемъ *Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen*), выпустилъ въ 1901 году книгу подъ заглавіемъ „Основные вопросы изслѣдованія языка въ связи съ Вундтовой психологіей языка“ (*Grundfragen der Sprachforschung mit Rücksicht auf W. Wundts Sprachpsychologie erörtert von B. Delbrück. Strassburg 1901*). Присоединяясь во многомъ къ Вундту, Дельбрюкъ не могъ однако не отмѣтить нѣкоторыхъ пунктовъ, въ которыхъ языковѣдъ не можетъ согласиться съ психологомъ. Эти разногласія подали поводъ и Вундту снова войти въ разсмотрѣніе этихъ вопросовъ, выяснить свою точку зрѣнія, указать, въ чемъ, по его мнѣнію, заключаются причины разногласія. Свой отвѣтъ Дельбрюку Вундтъ выпустилъ особой книгойъ подъ заглавіемъ: „Исторія языка и психологія языка въ связи съ „Основными вопросами изслѣдованія языка“, Дельбрюка“ (*„Sprachgeschichte und Sprachpsychologie mit Rücksicht auf B. Delbrücks „Grundfragen der Sprachforschung“ von Wilhelm Wundt. Leipzig. 1901*).

Прислушаться къ этому спору и дать себѣ отчетъ въ разногласіяхъ двухъ крупныхъ представителей современной науки — такова задача предлагаемой читателямъ статьи. Въ вопросахъ чисто психологическихъ авторъ не считаетъ себя достаточно свѣдущимъ и потому можетъ только сообщать о взглядахъ Вундта на тотъ или другой вопросъ; поэтому и оцѣнка взглядовъ Вундта можетъ быть дана здѣсь лишь односторонне, съ точки зрѣнія языковѣда. Излагать сначала содержаніе обширнаго сочиненія Вундта, затѣмъ книги Дельбрюка и наконецъ отвѣта Вундта мнѣ казалось нецѣлесообразнымъ: при такой системѣ пришлось бы постоянно повторяться. Поэтому я избралъ порядокъ изложенія по вопросамъ, не придерживаясь однако системы изложенія Вундта или Дельбрюка, а группируя эти вопросы такъ, какъ мнѣ казалось болѣе удобнымъ въ цѣляхъ наглядности изложенія.

## I.

Вундтъ озаглавилъ свою книгу „Народная психологія“, и такъ какъ уже въ этомъ понятіи выражается его точка зрѣнія на явленія языка, то необходимо остановиться на выясненіи этого термина, тѣмъ болѣе, что его нельзя въ настоящее время считать общеупотребительнымъ. Судьба „народной психологіи“ настолько любопытна и поучительна, что необходимо припомнить также и ея исторію. „Народная психологія“ неразрывно связана съ именами Лацаруса и Штейнталя, которые въ 1860 году основали журналъ подъ названіемъ *Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft*. Въ своей вступительной статьѣ они старались установить значеніе введеннаго ими термина „народной психологіи“. Основывая новую науку, Лацарусъ и Штейнталь думали, что они идутъ навстрѣчу уже назрѣвшей потребности. У своихъ предшественниковъ они находили бессознательную, „случайную, и потому ненаучную“ обработку такихъ вопросовъ, которые, по ихъ мнѣнію, должны войти въ новую науку. Необходимость въ ней ощущалась съ трехъ сторонъ: психологической, антропологической и исторической. „Въ наше время, — читаемъ мы въ началѣ, — нерѣдко даже люди науки — историки, этнологи, философы, юристы — говорятъ о „народномъ духѣ“ и различныхъ „народныхъ духахъ“ (*Volksgeister*); но, если необходимо имѣть возможность говорить объ этомъ научно, то, естественно, это понятіе само должно сначала найти себѣ мѣсто въ той наукѣ, въ которой путемъ научнаго познания выясняется и устанавливается его со-

держаніе, объёмъ и значеніе. Такъ какъ рѣчь идетъ о „духѣ“, то, очевидно, это мѣсто должно находиться въ наукѣ о духѣ, въ психологіи“. Психологія показываетъ, что человѣкъ становится тѣмъ, что онъ есть, лишь въ общеніи съ себѣ подобными. „Духъ есть общее произведеніе человѣческаго общества“ (стр. 3). Разсматривая только отдѣльнаго человѣка, индивидуальная психологія поэтому оказывается одностороннею. Этотъ пробѣлъ можетъ быть пополненъ только въ томъ случаѣ, если „спеціальному изслѣдованію будетъ подвергнутъ человѣкъ, какъ общественное существо, или человѣческое общество, объектъ совершенно отличный отъ единичнаго человѣка, такъ какъ внутри человѣческой группы появляются совершенно особенныя психологическія отношенія, явленія (Ereignisse) и созданія (Schöpfungen), которыя вовсе не касаются человѣка, какъ единицы, которыя отъ него, какъ такового, не исходятъ . . . Короче, здѣсь дѣло идетъ о духѣ группы (Gesammtheit), который отличается отъ всѣхъ отдѣльныхъ духовъ, къ ней принадлежащихъ, и который господствуетъ надъ всѣми ими“ (стр. 5). Такимъ образомъ индивидуальная психологія дополняется „психологіей общественнаго человѣка“, „психологіей человѣческаго общества“, которую Лацарусъ и Штейнталь назвали „народной психологіей“. Въ первой части этого названія сознательно подчеркивается понятіе народа, какъ такой группы, вліяніе которой сказывается съ наибольшею силой на всѣхъ составляющихъ ее единицахъ. Этимъ творцы „народной психологіи“ заплатили свою дань націонализму, вліяніе котораго сказалось еще и въ странномъ сопоставленіи народной психологіи съ политикой: „политика и народная психологія стоятъ въ тѣсной связи, потому что обѣ направлены на тотъ же предметъ, на силы народнаго духа; но онѣ различаются другъ отъ друга въ своей цѣли: вторая стремится только познавать, а первая — направлять и дѣйствовать“ (стр. 9). Такимъ образомъ политика есть прикладная народная психологія, точно такъ же какъ педагогика — прикладная психологія.

Мы не станемъ останавливаться на корняхъ народной

психологій, которые Лацарусъ и Штейнталь отыскивали въ исторіи и антропологій: укажемъ только на то, что эти корни совершенно того же характера: антропологи и историки стараются психологически истолковать нѣкоторыя изслѣдуемая ими явленія, и въ этихъ-то теоріяхъ изслѣдователей Лацарусъ и Штейнталь видятъ безсознательное исканіе народной психологій. О „народномъ духѣ“, главномъ объектѣ новой науки, въ разныхъ мѣстахъ статьи авторы высказываются различно, даютъ различныя опредѣленія, неуловимыя, расплывчатыя. Эта неопредѣленность понятія „народнаго духа“ является настолько существеннымъ признакомъ народной психологій, что мы сдѣлали бы большую ошибку, если бы постарались составить себѣ ясное представленіе о томъ, что понимали подъ народнымъ духомъ творцы новой науки. Въ этомъ отношеніи нужно однако отмѣтить одну оговорку авторовъ, что „народной души въ собственномъ смыслѣ слова“ они не признаютъ и потому содержаніе народнаго духа опредѣляютъ какъ „общее индивидуальныхъ духовъ“ (стр. 30).

Гораздо больше опредѣленности мы находимъ въ изображеніи содержанія „народной психологій“, но и тутъ авторы намѣтили настолько широко границы новой науки, что эта опредѣленность превращается въ еще худшую неопредѣленность — неопредѣленность границъ. Къ народной психологій, по мнѣнію Лацаруса и Штейнтала относятся: языкъ, миѳологія, религія, культъ, народная поэзія, письменность, искусство — это области, представляющія интеллектуальную сторону народнаго духа; практическая сторона народнаго духа находитъ свое выраженіе въ обычаяхъ и законахъ. Если мы припомнимъ, что, опредѣляя объектъ народной психологій, авторы иногда оговариваются, что они имѣютъ въ виду изученіе челоѳического общества, то такая программа не должна намъ показаться слишкомъ широкою; но, такъ какъ авторы постоянно указываютъ на изученіе „народнаго духа“ и его законовъ, то естественно возникаетъ вопросъ, возможно ли все разнообразіе перечисленныхъ въ этой программѣ областей свести къ „народному духу“ и къ „народной психологій“. Не превратится

ли „народная психологія“ при такомъ излишнемъ расширеніи ея границъ въ пустую и ненужную рамку. лишь механически объединяющую совершенно разнородныя дисциплины, могущія развиваться въ достаточной мѣрѣ и самостоятельно?

Какъ бы то ни было, новая наука была встрѣчена далеко не враждебно. Это выразилось уже въ успѣхѣ новаго журнала. Но замѣчательнѣе всего то обстоятельство, что вплоть до 1880 года, слѣдовательно пѣлыхъ 20 лѣтъ, не появлялось ни одной критической замѣтки по поводу основной мысли „народной психологіи“. На это обстоятельство обратилъ вниманіе самъ Штейнталь въ 1887 году (*Zeitschr. f. Völkerps. u. Sprachw.* Bd. XVII, 233), указывая на то, что онъ не встрѣчалъ въ печати ни одобренія, ни возраженій до появленія книги Пауля „Принципы исторіи языка“ (*Principien der Sprachgeschichte*; 1-ое изданіе 1880; 2-ое изданіе 1886; 3-ье изданіе 1898). Пауль отнесся къ основной мысли „народной психологіи“ отрицательно: „опредѣленія понятій“ въ упомянутой статьѣ Лацаруса и Штейнталья кажутся ему „неосновательными, отчасти путающими и затемняющими дѣйствительныя отношенія“ (стр. 9 второго изданія). Вдаваться въ подробности критики Пауля мы не будемъ; для насъ важно только его отрицательное отношеніе къ народной психологіи потому, что въ этомъ случаѣ Пауль, повидимому, былъ выразителемъ такого же отрицательнаго отношенія къ новой наукѣ большинства языковѣдовъ.

Нѣсколько позже, въ 1887 году, въ защиту народной психологіи выступилъ Вундтъ. Свое воззрѣніе онъ изложилъ въ статьѣ „О цѣляхъ и путяхъ народной психологіи“ (*Ueber Ziele und Wege der Völkerpsychologie. Philosoph. Stud.* Bd. IV, 1—27). Однако въ своей защитѣ Вундтъ настолько измѣнилъ самое понятіе народной психологіи и настолько сузилъ ея рамки, что Штейнталь былъ поставленъ въ необходимость возражать своему защитнику. Подробности этой полемики, мало выясняя суть дѣла, не имѣютъ для насъ непосредственнаго интереса. Для насъ важно только то, что даже единственный защитникъ идеи новой

науки „народной психологіи“ нашелъ нужнымъ значительно ограничить ея притязанія. Въ теченіе двадцати семи лѣтъ новая наука не выросла, а съежилась — симптомъ во всякомъ случаѣ тревожный, и, если въ настоящее время Вундтъ все еще старается ее поддержать, то можно съ увѣренностью сказать, что это — послѣдняя попытка. Пройдетъ нѣсколько лѣтъ, и „народная психологія“ уже отойдетъ въ область исторіи.

Но какъ же Вундтъ понимаетъ „народную психологію“? Вмѣстѣ съ Лацарусомъ и Штейнталемъ и Вундтъ противопоставляетъ „народную психологію“ психологіи индивидуальной, и противопоставляетъ, какъ необходимое дополненіе къ послѣдней, какъ составную часть психологіи вообще. Индивидуальная психологія „нуждается въ дополнительномъ изслѣдованіи психическихъ явленій, связанныхъ съ совмѣстной жизнью людей“, нуждается потому, что каждый отдѣльный человѣкъ въ своей психической жизни находится подъ вліяніемъ многихъ психическихъ воздѣйствій другихъ людей; поэтому „многочисленные факты индивидуальной психологіи могутъ быть вполне поняты нами лишь съ точки зрѣнія народной психологіи“. Такимъ образомъ объектомъ изслѣдованій „народной психологіи“ является человѣкъ во всѣхъ тѣхъ своихъ отношеніяхъ, которыя простираются за границы единичнаго существованія и которыя приводятъ къ духовному взаимодействию, какъ ихъ всеобщему условію“ (I, 2) <sup>1)</sup>. Хотя такая психологія могла бы быть правильнѣе названа „соціальной“ психологіей, тѣмъ не менѣе Вундтъ предпочитаетъ удержать старое названіе въ виду того противоположенія общества государству, которое могло бы внести путаницу и въ представленіе „общественной“ психологіи. „Во всякомъ случаѣ *народъ* представляетъ самый важный изъ тѣхъ жизненныхъ круговъ, въ которыхъ возникаютъ произведенія общей духовной жизни“ (I, 3). До сихъ поръ, какъ мы видимъ, между взглядами Вундта съ одной стороны и Лацаруса и Штейнтала съ

1) Во всѣхъ цитатахъ римская цифра обозначаетъ часть перваго тома Вундтовой книги, а арабская цифра — страницу.

другой — нѣтъ существенной разницы. Но далѣе, при болѣе точномъ опредѣленіи границъ народной психологіи, различіе во взглядахъ становится гораздо значительнѣе. Прежде всего Вундтъ исключаетъ изъ области, подлежащей вѣдѣнію народной психологіи, „тѣ явленія, которыя, хотя и имѣють въ своей основѣ общественное существованіе человѣка, однако, сами возникаютъ черезъ личное вмѣшательство отдѣльныхъ единицъ (durch das persönliche Eingreifen Einzelner). Поэтому исторія произведеній духа въ литературѣ, искусствѣ и наукѣ не принадлежитъ къ области народной психологіи, такъ какъ главная задача исторіи во всѣхъ этихъ областяхъ заключается именно въ томъ, чтобы уяснить внутреннюю связь совмѣстнаго дѣйствія какъ естественныхъ и культурныхъ условій, такъ и психическихъ способностей народовъ съ личнымъ дарованіемъ и дѣятельностью отдѣльныхъ единицъ“ (I, 4). Народная психологія устраняетъ все индивидуальное потому, что она „обращаетъ свое вниманіе исключительно на психологическую закономерность совмѣстной жизни“; а эта закономерность можетъ быть установлена только въ томъ случаѣ, если все мѣстное и національное будетъ устранено и если народная психологія „ограничится тѣмъ, что имѣетъ всеобщее значеніе“ (I, 5). Въ этомъ смыслѣ народная психологія „имѣетъ своимъ объектомъ тѣ психическія явленія, которыя лежатъ въ основѣ всеобщаго развитія человѣческихъ группъ и возникновенія общихъ произведеній духа всеобщаго значенія“ (I, 6).

Не сходится Вундтъ съ Лацарусомъ и Штейнталемъ и въ пониманіи „народнаго духа“. Въ этомъ пунктѣ Вундтъ, повидимому, прямо полемизируетъ съ ними. Мы видѣли, что Лацарусъ и Штейнталь особенно подчеркивали то, что они не признають существованія „народной души въ собственномъ смыслѣ слова“ (см. выше, стр. 9) и считали объектомъ народной психологіи „народный духъ“. Вундтъ начинаетъ изложеніе своего взгляда на этотъ предметъ съ установленія различія значенія понятій „духъ“ (Geist) и „душа“ (Seele). Онъ указываетъ на то, что отъ временъ „миѳологическаго мышленія“ мы до сихъ поръ сохранили

употребленіе слово „душа“ (Seele) въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣется въ виду отношеніе къ тѣлу и тѣлесной жизни, тогда какъ слову „духъ“ (Geist) придаемъ значеніе чего-то независимаго отъ тѣла. Я не берусь утверждать, что и въ русскомъ языкѣ указанная понятія различаются такимъ же образомъ, но намъ важно здѣсь отмѣтить только то, какое значеніе придаетъ этимъ понятіямъ Вундтъ. Подробно разъяснивъ исторію и значеніе употребленія этихъ двухъ словъ, Вундтъ говоритъ, что съ этой точки зрѣнія правильнѣе говорить о „народной душѣ“, а не о „народномъ духѣ“, какъ объектъ народной психологіи. Въ такомъ случаѣ получается полный параллелизмъ съ эмпирической психологіей: въ эмпирической психологіи мы говоримъ о душѣ, какъ о „фактически данной связи психическихъ актовъ“, не придавая этому слову никакого иного метафизическаго значенія: въ такомъ же смыслѣ мы можемъ говорить и о „народной душѣ“. „Произведенія духа, возникающія благодаря со- вмѣстной жизни членовъ народной группы“ составляютъ содержаніе понятія „народной души“. Но это „не простая сумма индивидуальныхъ единицъ сознанія, круги которыхъ входятъ въ нее своею частью“. И здѣсь, „въ результатъ этого соединенія получаютъ особыя психическія и психофизическія явленія, которыя или вовсе не могутъ возникнуть въ одномъ индивидуальномъ сознаніи, или по крайней мѣрѣ не могутъ въ немъ достигнуть такого развитія, до какого они доходятъ вслѣдствіе взаимодѣйствія отдѣльных индивидуумовъ“ (I, 9—10). Специальнымъ признакомъ „народной души“ Вундтъ признаетъ „непрерывность психическихъ рядовъ развитія при постоянно повторяющейся гибели ихъ индивидуальныхъ носителей“ (I, 11). Проводя границу между индивидуальной и народной душой, Вундтъ указываетъ на постоянное взаимодѣйствіе этихъ двухъ сторонъ, затрудняющее разграниченіе того, что принадлежитъ совокупности, отъ того, что составляетъ собственность каждаго въ отдѣльности. „Даже болѣе того: сліяніе обѣихъ областей настолько входитъ въ существо дѣла, что было бы ошибочно стараться устранить эту переходную область при помощи искусственнаго различенія понятій. Однако

возможно установить два всеобщих признака (одинъ — внѣшній, другой — внутренній), которые даютъ возможность изъ массы индивидуальных и общихъ душевныхъ движеній совмѣстной жизни выдѣлять извѣстныя явленія, какъ носящія характеръ *родовой*, отличая ихъ отъ другихъ, носящихъ *индивидуальный* характеръ. Это, во-первыхъ, непосредственно наблюдаемое вмѣшательство (*Eingreifen*) *отдѣльныхъ лицъ* съ зависящимъ отъ ихъ индивидуальнаго характера направлениемъ воли, вмѣшательство, которое даетъ возможность цѣлый рядъ явленій признать непринадлежащими къ народной душѣ по своему происхожденію, хотя и могущими воздѣйствовать на совмѣстную жизнь. Во-вторыхъ, совершенно внѣ народно-психологическихъ явленій лежитъ область *произвольныхъ* дѣйствій, предполагающихъ сознательную оцѣнку мотивовъ. Поэтому на долю народной психологіи остается область дѣйствій, вызываемыхъ бессознательными побужденіями (*triebartige Willenshandlungen*). Само собою понятно, что границы этихъ областей съ точки зрѣнія обоихъ признаковъ остаются во многихъ отношеніяхъ неопредѣленными. . . . Ясно также, что оба признака выражаютъ въ основѣ только одинъ фактъ, который разсматривается каждый разъ съ различныхъ точекъ зрѣнія: въ первомъ случаѣ, когда принимается за мѣрку индивидуальное вліяніе на общую жизнь, — съ точки зрѣнія *исторической*; во второмъ случаѣ, когда мѣрка опредѣляется природою явленій, — съ точки зрѣнія *психологической*. Къ обѣимъ этимъ точкамъ зрѣнія можетъ быть присоединена и третья, еще въ болѣе высокой степени относительная, именно точка зрѣнія *этнологическая*. Переходъ отъ понятія *первобытнаго народа* (*Naturvolk*) къ понятію народа *культурнаго* (*Culturvolk*) съ особенною ясностью сказывается именно въ упомянутомъ вмѣшательствѣ отдѣльныхъ лицъ съ ихъ произвольною дѣятельностью“ (I, II—12). Съ этой точки зрѣнія Вундтъ указываетъ на первобытныхъ народовъ, какъ на особенно важный объектъ для народной психологіи: у нихъ господствуетъ „инстинктивная жизнь“, опредѣляемая „съ своего рода необходимостью закона природы“ какъ

„внутреннею опредѣленностью натуры“, такъ и „внѣшними естественными условіями“.

Мы сдѣлали эту довольно длинную выписку изъ книги Вундта не только потому, что она выясняетъ пониманіе Вундтомъ „народной психологіи“, но также и потому, что здѣсь яснѣе всего выражено противуположеніе исторіи и психологіи, или исторической и психологической точки зрѣнія, какъ понимаетъ ихъ Вундтъ. Я думаю, что мысль Вундта не удовлетворитъ никого изъ тѣхъ, кто имѣетъ дѣло съ историческими вопросами; но менѣе всего такая историческая точка зрѣнія приложима къ явленіямъ языка. Въ языкѣ мы не можемъ указать ничего, что вполне опредѣленно могло-бы быть отнесено къ области привольнаго, сознательнаго, личнаго вмѣшательства, которое Вундтъ признаетъ объектомъ историческаго изученія; поэтому съ его точки зрѣнія языкъ всецѣло долженъ быть отнесенъ къ области „народной психологіи“, и историческая точка зрѣнія къ нему должна бы быть неприложима. Между тѣмъ всѣ языковѣды обыкновенно изслѣдуютъ языкъ именно съ исторической точки зрѣнія, и наиболѣе разработанными областями языкознанія являются тѣ, которыя имѣютъ достаточно матеріала для освѣщенія исторіи языковыхъ явленій. Конечно, Вундтъ не могъ отрицать существованія исторической разработки языка, которая и ему была хорошо знакома; но его опредѣленіе „исторической“ точки зрѣнія въ данномъ случаѣ, очевидно, имѣло въ виду другія области и, приспособляясь къ нимъ, приняло такую форму, которая оказалась неприложимой къ исторіи языка.

Это оригинальное пониманіе „историческаго“ сказалось въ цѣломъ рядѣ недоразумѣній, которыя возникли между Вундтомъ и Дельбрюкомъ. Дельбрюкъ, какъ языковѣдъ по преимуществу, не могъ согласиться съ тѣмъ противуположеніемъ психологіи и исторіи, которое проводитъ Вундтъ; не могъ онъ поэтому согласиться и съ тѣмъ положеніемъ, будто первобытные народы представляютъ особенно удобное поле для изслѣдованія дѣйствія безсознательныхъ психическихъ силъ. Такъ называемые

первобытные народы (Naturvölker), по мнѣнію Дельбрюка, суть тѣ народы, исторіи которыхъ мы не знаемъ. „Вѣдь никто не станетъ серьезно утверждать, что языки дикихъ не имѣютъ за собою никакой исторіи“ (Grundfr. 46). Поэтому Дельбрюкъ отрицательно относится къ выводамъ, построеннымъ на данныхъ языковъ первобытныхъ народовъ. Безъ историческихъ указаній мы не можемъ установить надежной послѣдовательности въ смѣнѣ явленій и можемъ принять позднѣйшее за первобытное и наоборотъ. Что же касается психологической оцѣнки этихъ данныхъ, то обыкновенно какъ для той, такъ и для другой послѣдовательности не трудно бываетъ найти психологическое освѣщеніе. Естественно является вопросъ, не будутъ-ли слишкомъ шатки всѣ психологическія построенія, если они не опираются на твердыя историческія данныя. Въ такомъ случаѣ господство „народно-психологическаго“ толкованія превратится въ господство произвольныхъ толкованій.

Съ точки зрѣнія языкознанія Дельбрюкъ естественно смотритъ на психологію языка, какъ на приложеніе психологіи къ языкознанію. Разбирая особенности психологическихъ взглядовъ Вундта сравнительно со взглядами Пауля, Дельбрюкъ указывалъ между прочимъ и на то, что практически „можно жить съ обѣими теоріями“ (Grundfr. 44). Противъ этой практической точки зрѣнія Дельбрюка Вундтъ энергично протестуетъ. Онъ не отрицаетъ того, что какъ исторія языка оказываетъ помощь психологіи языка, такъ и, наоборотъ, послѣдняя оказываетъ услуги первой; но эти взаимныя услуги не лишаютъ каждую изъ областей своей самостоятельности. Прежнее направленіе старалось примѣнять психологію къ объясненію фактовъ исторіи языка, а то направленіе, которое отстаиваетъ Вундтъ, старается добыть психологическія свѣдѣнія „изъ фактовъ языка и прежде всего изъ исторіи языка“ (Sprachgeschichte . . . 9). Дельбрюкъ „въ своемъ изложеніи, — говоритъ Вундтъ, — нигдѣ не указываетъ на то, что я въ своей работѣ прежде всего имѣлъ въ виду использовать факты языка для психологіи и что устанавливаемые мною законы элементарныхъ ассимиляцій, ассоціацій, выраженной

воли и т. д. выведены мною главнымъ образомъ изъ явленій языка“ (тамъ же, 9). Практическая точка зрѣнія языковѣда, когда онъ переходитъ отъ исторіи языка къ его психологіи, указываетъ только на его поверхностное отношеніе къ психологическому толкованію. При такой постановкѣ дѣла языковѣдъ „не столько задается вопросомъ о томъ, какъ возникли данныя явленія и въ какомъ отношеніи стоятъ они другъ къ другу, сколько отыскиваетъ возможно болѣе удобную и простую схему ихъ классификаціи“ (тамъ же, 9). Но психологъ не можетъ задаваться вопросомъ, какое объясненіе практичнѣе; онъ можетъ только отыскивать *истинное* рѣшеніе вопроса. А въ такомъ случаѣ онъ не можетъ удовлетворяться одинаково двумя различными теоріями: ибо истина можетъ быть только одна.

Хотя эта критика взгляда Дельбрюка не совсѣмъ справедлива, такъ какъ приведенная выше оцѣнка психологическихъ теорій касается элементарныхъ вопросовъ психологіи, то или другое рѣшеніе которыхъ дѣйствительно можетъ не имѣть значенія для психологическаго пониманія явленій языка; однако Вундтъ здѣсь указываетъ въ самомъ дѣлѣ на слабое мѣсто языкознанія. Научно-психологическое толкованіе явленій языка онъ противопоставляетъ тому часто примѣняемому языковѣдами „искусству психологическаго толкованія“, которое онъ называетъ „искусствомъ вульгарной психологіи“. „Этимъ именемъ можно назвать ту смѣсь дѣйствительныхъ наблюденій, традиціонныхъ теорій и мнимыхъ фактовъ, къ которой прибѣгаютъ представители отдѣльныхъ наукъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они не могутъ избѣжать психологическаго толкованія. . . Вульгарная психологія состоитъ въ *перенесеніи на самыя вещи субъективныхъ размышленій о вещахъ*. Если, напр., въ какомъ-либо языкѣ одно слово раздѣлилось на два различныхъ слова, то это толкуется какъ стремленіе къ установленію важныхъ различій. Если, наоборотъ, важныя различія исчезаютъ вслѣдствіе утраты звуковъ, то это объясняется обратно тенденціей сдѣлать произношеніе возможно болѣе удобнымъ“ (I. 14—15). Отвергая такую „вульгарную психологію“, Вундтъ требуетъ отъ языковѣдовъ болѣе глубо-

каго знакомства съ научной психологіей, и въ этомъ смыслѣ онъ совершенно правъ.

Но не такъ ясна его защита самостоятельности психологіи языка. Возражая противъ практической точки зрѣнія Дельбрюка, Вундтъ не отрицаетъ однако служебнаго значенія „психологіи языка“ для языкознанія, но только требуетъ, чтобы „изъ фактовъ выводились понятія и законы, которыми лишь при этомъ условіи можно руководиться при толкованіи фактовъ“ (Sprachgeschichte . . . 20). Языковѣды именно такъ и поступали. Если они ошибались въ установленіи законовъ, если даже ихъ пріемы были пріемами „вульгарной психологіи“, все же они руководились правильнымъ принципомъ: въ самомъ языкѣ они искали объясненія языковыхъ явленій, пользуясь услугами психологіи. Въ чемъ же состоитъ особая самостоятельность Вундтовой „психологіи языка“? Повидимому, только въ томъ, что для него, какъ для психолога, явленія языка имѣютъ самостоятельный интересъ. Стараясь отстоять независимость психологіи языка, какъ части народной психологіи, Вундтъ дѣлаетъ предметомъ своего изслѣдованія одну только психологическую сторону языковыхъ явленій, признаваясь однако, что эта сторона неотдѣлима отъ другихъ сторонъ. Такимъ образомъ его самостоятельная наука страдаетъ тѣмъ крупнымъ недостаткомъ, что она не имѣетъ самостоятельнаго объекта для изслѣдованія. Наука можетъ дѣлать своимъ объектомъ и одну какую-либо сторону явленій, но для этого необходимо, чтобы эта сторона была ясно и опредѣленно отдѣлена. Можно было бы возразить на это, что терминъ „психологическій“ достаточно самъ по себѣ ясенъ, такъ что и психологическая сторона языковыхъ явленій есть достаточно опредѣленный объектъ для особой дисциплины. Но дѣло въ томъ, что, хотя Вундтъ и говоритъ о выведенныхъ изъ фактовъ языка особыхъ психологическихъ законахъ, однако онъ нигдѣ ихъ не указываетъ. Тѣ же „законы элементарныхъ ассимиляцій, ассоціацій, выраженій воли и т. д.“, о которыхъ онъ говоритъ въ приведенномъ выше мѣстѣ, безъ всякаго затрудненія могутъ быть признаны чисто психологическими законами или по

крайней мѣрѣ къ нимъ сведены. Поэтому языковѣдъ поступаетъ методологически гораздо правильнѣе: онъ исторически изучаетъ осязательно данную языковую форму и, выдѣливъ изъ нея все то, что можетъ быть объяснено механизмомъ рѣчи, все остальное старается объяснить психологически. Особую психологію языка можно будетъ создать только тогда, когда психологическое въ языкѣ нельзя будетъ свести къ элементарнымъ психологическимъ явленіямъ вообще. До сихъ поръ это сведеніе удавалось и другимъ, такъ же какъ оно удается и Вундту. Если же это такъ, то правы языковѣды, смотрящіе на психологію языка, какъ на приложеніе психологіи къ задачамъ языкознанія.

Кромѣ того Вундтъ дѣлаетъ здѣсь еще и другую ошибку, которая, повидимому, относится и ко всей его „народной психологіи“. Онъ предполагаетъ, что языкъ (а за нимъ и миѳъ, и обычай) долженъ быть объясненъ психологически, или точнѣе, что всѣ явленія языка допускаютъ психологическое объясненіе. Эта-то основная мысль, не подлежащая, повидимому, сомнѣнію для Вундта, мнѣ кажется вовсе не столь очевидною. Вундтъ старается, напр., дать психологическое толкованіе даже такимъ звуковымъ измѣненіямъ, какъ германскій перебой. Между тѣмъ нельзя признать методологически правильнымъ это желаніе уже потому, что мы знаемъ нѣкоторыя звуковыя измѣненія, которыхъ ближайшія причины лежатъ въ механизмѣ артикуляціи звуковъ (напр. развитіе звуковъ *b* и *d* послѣ *m* и *n* передъ слѣдующимъ *r*:  $mr > mbr$ ,  $nr > ndr$ ). Если имѣть въ виду такую возможность, то необходимо признать, что всякое психологическое толкованіе подобныхъ явленій непременно будетъ по меньшей мѣрѣ сомнительнымъ.

Мы видимъ такимъ образомъ, что „народная психологія“ Вундта, кромѣ неопредѣленности границъ, страдаетъ еще и другими недостатками: она опирается на недоказанныя и сомнительныя предпосылки. Еще больше произвола выказываетъ Вундтъ, относя къ „народной психологіи“ только языкъ, миѳъ и обычай. Въ этомъ онъ,

повидимому, руководится предвзятой аналогією съ индивидуальной психологією. „Въ языкѣ отражается прежде всего міръ *представлений* чловѣка“: миѣ „опредѣляется направленіями *чувства*“; наконецъ „обычай обнимаєтъ всѣ тѣ общія направленія *воли*, которыя господствуютъ надъ уклоненіями индивидуальныхъ привычекъ“. Такимъ образомъ получается полный параллелизмъ съ индивидуальной психологією, трактующей о представленіяхъ, чувствахъ и волѣ индивидуальной душевной жизни (I, 26—27). Лацарусъ и Штейнталь были несомнѣнно гораздо послѣдовательнѣе, вводя въ область своей „народной психологіи“ и миѣологию, и религію, и народную поэзію и многое другое. Здѣсь неопредѣленности понятія соотвѣтствуетъ и полная неопредѣленность границъ. Вундтъ же, не выяснивъ въ сущности нисколько понятія „народной психологіи“, совершенно произвольно сократилъ ея содержаніе.

## II.

Первую главу въ своемъ изложеніи психологіи языка Вундтъ посвящаетъ „выразительнымъ движеніямъ“ (Ausdrucksbewegungen<sup>1)</sup>). Подъ „выразительными движеніями“ Вундтъ разумѣетъ „физическія явленія, сопровождающія аффекты“ (I, 52). Каждое измѣненіе психическаго состоянія обыкновенно сопровождается измѣненіемъ соотвѣтствующихъ физическихъ состояній. Такимъ образомъ извѣстныя движенія являются симптомами психическихъ процессовъ. Ускореніе или замедленіе сердцебіенія, дыханія, разнообразныя движенія мускуловъ лица (мимическія движенія) и наконецъ движенія рукъ (пантомимическія движенія) —

1) Этотъ терминъ я перевожу не совсѣмъ точно. Лучше было-бы сказать „выражательное движеніе“, если бы только слово „выражательный“ существовало въ русскомъ языкѣ.

все это движенья выразительныя. Вундтъ даетъ подробный разборъ этихъ движеньй въ связи съ психическими состояніями, ихъ классификацію и психо-физиологическую теорію. Отъ изложенія его взглядовъ намъ придется однако воздержаться, такъ какъ для изложенія этой главы требуется такое знакомство съ психо-физиологіей, какимъ я не обладаю. Во всякомъ случаѣ эта теорія „выразительныхъ движеньй“ не стоитъ въ непосредственной связи съ вопросами языкознанія. Наиболѣе близкое отношеніе она имѣетъ къ вопросу о происхожденіи языка; но и для этой цѣли достаточно самаго общаго ознакомленія съ взглядами Вундта на происхожденіе и развитіе „выразительныхъ движеньй“.

Для того, чтобы понять, почему свою психологію языка Вундтъ начинаетъ именно разборомъ „выразительныхъ движеньй“, намъ необходимо остановиться на его вводныхъ замѣчаніяхъ къ этой главѣ. „Психо-физическія жизненныя проявленія, — говоритъ онъ, — къ которымъ можетъ быть причисленъ языкъ, какъ особая, своеобразно развитая форма, мы обозначаемъ общимъ понятіемъ *выразительныхъ движеньй*. Каждый языкъ состоитъ изъ звуковыхъ обозначеній (Lautäusserungen) или другихъ чувственно воспринимаемыхъ знаковъ, которые производятся дѣйствіями мускуловъ и выражаютъ внѣшнимъ образомъ внутреннія состоянія, представленія, чувства, аффекты. Такъ какъ послѣднее опредѣленіе соотвѣтствуетъ понятію выразительныхъ движеньй вообще, то обыкновенно особеннымъ признакомъ, отличающимъ языкъ отъ другихъ движеньй подобнаго рода, считаютъ то, что онъ, выражая представленія, можетъ служить *сообщенію мыслей*. Этотъ признакъ однако уже потому не можетъ ставить языкъ ни въ какое абсолютно особое положеніе, что и другія выразительныя движенья нерѣдко сопровождаются симптомами представленій, а также и потому, что самъ языкъ рядомъ съ представленіями можетъ выражать и чувства. Поэтому сообщеніе мысли есть только возможная цѣль, которая не должна необходимо существовать при каждомъ отдѣльномъ языковомъ актѣ. Сверхъ того размышленіе въ одиночествѣ обыкновенно облекается въ форму рѣчи

даже при такихъ условіяхъ, когда нѣтъ ни намѣренія, ни возможности сообщенія. Еще труднѣе признать критеріемъ языка, какъ такового, звуковую форму выраженія, такъ какъ между чистыми формами выраженія чувствъ, которыя мы не относимъ къ языку, встрѣчаются и выразительные звуки (Ausdruckslaute); съ другой стороны языкъ жестовъ состоитъ изъ движеній, невоспринимаемыхъ слухомъ, однако, не смотря на это, обладаетъ всѣми существенными свойствами настоящаго языка“ (I, 31—32).

Въ этихъ вводныхъ словахъ заключается вкратцѣ программа первыхъ двухъ главъ книги Вундта. Отсюда онъ естественно переходитъ къ разбору „выразительныхъ движеній“ и непосредственно отъ нихъ къ „языку жестовъ“, о которомъ рѣчь идетъ во второй главѣ (I, 131—243). Если дѣйствительно языкъ представляетъ лишь „особую, своеобразно развитую форму“ выразительныхъ движеній; если даже опредѣленіе языка, по признанію Вундта, „соотвѣтствуетъ понятію выразительныхъ движеній вообще“; если, наконецъ, ни сообщеніе мыслей, ни звуковая форма не могутъ быть признаны „критеріями“ языка; то изученіе „выразительныхъ движеній“ несомнѣнно должно составлять по крайней мѣрѣ часть науки о языкѣ, а изученіе т. наз. „языка жестовъ“ должно быть прямо отнесено къ области языкознанія. Однако во всѣхъ приведенныхъ предпосылкахъ столько произвольныхъ и смѣлыхъ обобщеній, что намъ кажется необходимымъ остановиться на разсмотрѣніи этихъ положеній Вундта, тѣмъ болѣе что и Дельбрюкъ, возражая противъ нѣкоторыхъ крайностей, признаетъ, по видимому, принципиальную правильность такой постановки вопроса. По крайней мѣрѣ онъ говоритъ о „языкѣ жестовъ“ въ томъ-же смыслѣ, какъ и Вундтъ, и даже дополняетъ и развиваетъ изложеніе Вундта весьма интересными собственными соображеніями и наблюденіями.

Прежде всего бросается въ глаза та странность, что Вундтъ съ одной стороны признаетъ языкъ „особой, своеобразно развитой формой выразительныхъ движеній“, а въ опредѣленіи языка не указываетъ этихъ его специфическихъ, своеобразныхъ признаковъ. Его нисколько не

смущаетъ и то, что при такомъ опредѣленіи понятіе языка совпадаетъ съ понятіемъ „выразительныхъ движеній“, между тѣмъ какъ самъ онъ начинаетъ свое изложеніе съ указанія на болѣе *общую* категорію „выразительныхъ движеній“, къ которой причисляется и языкъ. Во всей книгѣ Вундта мы не нашли разъясненія этой странности, хотя очевидно, что онъ ее сознавалъ. Единственное мѣсто, которое нѣсколько разъясняетъ его точку зрѣнія, мы нашли въ главѣ о происхожденіи языка (II, 605). Въ этомъ мѣстѣ говорится о томъ, что нѣтъ абсолютной границы между языкомъ и естественнымъ состояніемъ, лишеннымъ языка. „Наблюдатель, — продолжаетъ Вундтъ, — которому удалось бы прослѣдить шагъ за шагомъ развитіе языка, не былъ бы никогда въ состояніи сказать: здѣсь, въ этотъ моментъ начинается языкъ, а тамъ, въ предыдущій моментъ, его еще не существовало. Какъ выразительное движеніе, каковымъ языкъ остается на всѣхъ ступеняхъ своего развитія, онъ происходитъ совершенно постепенно (*vollkommen kontinuierlich*) изъ совокупности выразительныхъ движеній, которыя отличаютъ животную жизнь вообще. Этимъ объясняется также и то, что, какъ было замѣчено уже въ самомъ началѣ этой книги, кромѣ общаго понятія выразительнаго движенія нѣтъ ни одного специфическаго признака, которымъ бы языкъ былъ опредѣленно, и не произвольно ограниченъ“. Весьма странно слышать такое оправданіе изъ устъ Вундта, который не затруднился, какъ мы видѣли, ограничить понятіе „народной психологіи“, не смотря даже на то, что самъ онъ призналъ относительность такого разграниченія. Теперь онъ отказывается провести границу между языкомъ и выразительнымъ движеніемъ, отличающимъ „животную жизнь вообще“, только потому, что развитіе языка „происходитъ совершенно постепенно“. Этотъ доводъ настолько слабъ, что мы его нарочно назвали оправданіемъ. И дѣйствительно, гдѣ мы не наблюдаемъ постепенности переходовъ? Между растительной и животной клѣткой мы тоже не находимъ существенной разницы; но это не даетъ намъ права смѣшивать дерево съ четвероногимъ животнымъ. Точно также не удовлетворится ни

одинъ языковѣдъ общей ссылкой на „выразительныя движенія“ и на постепенность ихъ развитія, если ему скажутъ, что вой волка и лай собаки въ сущности то же, что человѣческой языкъ. Дѣло вовсе не въ томъ, къ какой общей категоріи то или другое явленіе относится, а именно въ ихъ особыхъ, специфическихъ признакахъ. Мы уже не станемъ долѣе останавливаться на разъясненіи этого, и безъ того совершенно яснаго вопроса, и сошлемся только на то, что и Вундтъ иногда проговаривается, указывая тѣмъ, что и онъ обыкновенно разумѣетъ подъ языкомъ приблизительно тоже, что и другіе. Такъ напр., въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ: „Ритмъ и интонація суть свойства, которыя наравнѣ со звукомъ, словесной формой и предложеніемъ относятся къ существу языка (zum Wesen der Sprache)“ (II, 375). Въ этихъ словахъ „къ существу языка“ относится какъ разъ та самая „звуковая форма выраженія“, которую Вундтъ отказывается признать „критеріемъ“ языка въ вышеприведенномъ мѣстѣ. Еще слабѣе аргументація Вундта противъ сообщенія мыслей, какъ специфическаго признака языка. Тутъ онъ прежде всего придирается къ слову мысль и указываетъ на то, что языкъ можетъ выражать и чувства. Но онъ въ данномъ случаѣ опровергаетъ только самого себя, такъ какъ обыкновенно языковѣды прямо оговариваются, что и чувства, они, конечно, молчаливо подразумеваютъ, говоря только о мысляхъ, какъ о наиболѣе важномъ содержаніи языка. Странно однако еще и то, что психологъ въ данномъ случаѣ хочетъ различать мысли и чувства, между тѣмъ какъ именно психологія указываетъ на „совершенную постепенность“ перехода однихъ въ другія, говоря, что „нельзя провести рѣзкой границы . . . между чувственнымъ воспріятіемъ и мышленіемъ“ (ср. Гефдингъ. Очерки психологія, 3-е русск. изд. Спб. 1898, стр. 95). Но важнѣе всего то, что Вундтъ какъ будто не замѣчаетъ самаго главнаго, на что обращаютъ вниманіе тѣ, которые говорятъ о сообщеніи мыслей, какъ о признакѣ языка. Именно, здѣсь подчеркивается „*сообщеніе* мыслей“, т. е. общественный характеръ языка. Понятно послѣ этого, какъ неудачно указаніе на „размышленіе

въ одиночествѣ“, облакающеея обыкновенно въ форму рѣчи даже въ тѣхъ случаяхъ, когда никто не можетъ человѣка услышать. Неужели желудокъ перестаетъ быть органомъ пищеваренія, когда онъ голодаетъ? Странно, что Вундтъ не обратилъ вниманія на эту общественную сторону языка въ данномъ случаѣ, между тѣмъ какъ его идея „народной психологіи“, именно эту сторону и старается подчеркнуть.

Однимъ словомъ въ этихъ немногихъ строкахъ Вундтъ впадаетъ въ такое количество противорѣчій, что невольно является вопросъ, почему ему непременно захотѣлось такъ широко толковать довольно опредѣленное понятіе языка. Отвѣтомъ на этотъ вопросъ, повидимому, служить заключительная фраза его вводныхъ замѣчаній, приведенныхъ нами выше: „языкъ жестовъ состоитъ изъ движеній, не воспринимаемыхъ слухомъ, однако, не смотря на это, обладаетъ всѣми существенными свойствами настоящаго языка“. Но Вундтъ здѣсь уже забываетъ, что онъ только что отказался указать эти „существенныя свойства настоящаго языка“. Онъ только что сказалъ, что „настоящій“ языкъ совпадаетъ съ „выразительными движеніями“ вообще, что у него нѣтъ особыхъ признаковъ. Что-же удивительнаго въ томъ, что и „языкъ жестовъ“ по Вундту есть „настоящій языкъ“, потому что и онъ ничѣмъ не отличается отъ выразительныхъ движеній. Такимъ образомъ вся сила доказательства этой фразы сводится къ тому, что и жесты можно называть языкомъ. Противъ этого едвали кто-нибудь станетъ возражать. Но дѣло измѣняется, если поставить вопросъ такъ: имѣемъ ли мы право распространять понятіе языка также на жесты и на другія „выразительныя движенія“? Не будетъ ли такое распространеніе понятія граничить съ простымъ метафорическимъ выраженіемъ, со смѣлой аналогіей? И наконецъ, практично-ли вмѣсто установленія яснаго, научнаго понятія языка настолько расширять его, чтобы не было никакой возможности провести границу между выразительнымъ движеніемъ (напр. виляніемъ хвоста у собаки) и человѣческимъ языкомъ?

На послѣдній вопросъ, мнѣ кажется, не можетъ быть

другого отвѣта, кромѣ отрицательнаго. Къ какимъ бы широкимъ обобщеніямъ ни стремилась наука, практическая разработка ея всегда тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ она расчлененнѣе, чѣмъ яснѣе проведены границы между различными областями явленій. Съ этой точки зрѣнія желательно было-бы имѣть точное опредѣленіе языка даже въ томъ случаѣ, если-бы было съ несомнѣнностью доказано, что языкъ относится къ области выразительныхъ движеній вообще. Что касается языка жестовъ, то несомнѣнно прежде всего, что мы говоримъ здѣсь о „языкѣ“ по аналогіи съ языкомъ въ собственномъ смыслѣ слова, съ языкомъ звуковымъ. На подобныя метафоры языковѣды обращали вниманіе и до Вундта, но относились къ нимъ совершенно отрицательно. Такъ Г. фонъ-деръ-Габеленцъ, давая опредѣленіе языка, указываетъ, что слово „языкъ“ употребляется въ такихъ выраженіяхъ, какъ „языкъ природы“, „языкъ камней“, которые рассказываютъ намъ исторію какихъ-либо развалинъ, „языкъ жестовъ“ и „языкъ животныхъ“. Во всѣхъ случаяхъ слово „языкъ“ употребляется по аналогіи съ человѣческимъ языкомъ, который, по его мнѣнію, можно опредѣлить какъ „расчлененное выраженіе мысли при помощи звуковъ“ (*Die Sprachwissenschaft*. Leipzig 1891, стр. 2—3). Вундтъ съ этимъ не согласенъ: языкъ жестовъ онъ во всякомъ случаѣ считаетъ „настоящимъ языкомъ“. Но какъ же это доказывается? Вундтъ старается подтвердить свою мысль подробнымъ анализомъ языка жестовъ въ извѣстныхъ ему формахъ.

Свое изложеніе Вундтъ начинаетъ общими замѣчаніями о языкѣ жестовъ и особенное вниманіе обращаетъ на ту сторону его, которую отмѣтилъ уже Квинтиліанъ, назвавъ языкъ жестовъ „общимъ языкомъ всѣхъ людей“ (*omnium hominum communis sermo*). „Этотъ всеобщій характеръ обусловленъ, очевидно, тѣмъ непосредственно наглядно даннымъ отношеніемъ, въ которомъ находятся жестъ и его значеніе. Благодаря этому отношенію языкъ жестовъ пріобрѣтаетъ такой характеръ первобытности и естественности, какого звуковой языкъ не имѣетъ ни въ теперешней своей формѣ, ни въ какой-либо изъ прежнихъ, о которыхъ мы можемъ

заключатъ изъ исторіи языка“ (I, 132). Этимъ объясняется предположеніе нѣкоторыхъ антропологовъ, которые думаютъ, что „языкъ жестовъ есть первобытный языкъ въ собственномъ смыслѣ слова и, какъ естественное средство сообщенія мыслей, предшествовалъ звуковому языку“. Въ дальнѣйшемъ Вундтъ нѣсколько ограничиваетъ эту „универсальность“ языка жестовъ, указывая на то, что она „имѣетъ значеніе лишь для представленій достаточно всеобщаго характера (hinreichend allgemeingültiger Art)“. (I, 135). Тѣмъ не менѣе ясно, что Вундтъ придаетъ этой универсальности языка жестовъ большое значеніе, и она играетъ важную роль въ его системѣ. Чтобы уяснить точку зрѣнія Вундта, намъ придется опять привести довольно длинную цитату. „Если различныя формы развитія языка жестовъ, пользуясь образомъ, заимствованнымъ изъ звукового языка, назвать діалектами, то классификація жестовъ, проведенная съ генетической точки зрѣнія, можетъ быть обозначена, какъ своего рода этимологія жестовъ. Конечно, значеніе этихъ выраженій существенно измѣняется при такомъ перенесеніи, но это же измѣненіе значенія въ свою очередь бросаетъ нѣкоторый свѣтъ на природу языка жестовъ. Именно, если оставить въ сторонѣ совершенно искусственныя системы знаковъ, то мы можемъ, правда, говорить о различныхъ діалектахъ языка жестовъ, но никогда не можемъ говорить о языкахъ различнаго происхожденія (von verschiedenen Sprachstämmen); и кромѣ того встрѣчающіяся діалектическія различія зависятъ въ большей степени отъ внѣшнихъ жизненныхъ условій и отъ существованія продолжительнаго преданія, нежели отъ первоначальнаго родства или общаго происхожденія людей. Отсюда вытекаетъ слѣдствіе, что этимологія жестовъ только въ самой малой мѣрѣ можетъ заключаться въ указаніи происхожденія даннаго знака изъ другихъ первоначальныхъ жестовъ. Такое указаніе возможно только въ тѣхъ случаяхъ, когда жестъ въ послѣдовательномъ преданіи или самъ претерпѣваетъ измѣненія, или измѣняетъ свое значеніе. Что послѣднее встрѣчается, въ этомъ мы убѣдимся при разсмотрѣніи измѣненія значенія жестовъ. Но этого

рода развитіе жеста мы наблюдаемъ въ очень ограничен-ныхъ размѣрахъ. Такъ какъ даже въ такихъ развитыхъ формахъ языка жестовъ, которыя основаны на продолжи-тельномъ преданіи, количество знаковъ, измѣнившихся въ своей формѣ или въ значеніи, сравнительно невелико, то вопросъ о происхожденіи большинства жестовъ вообще можетъ быть понимаемъ лишь въ *психологическомъ* смыслѣ. Если этимологія въ звуковомъ языкѣ должна удовлетво-ряться установленіемъ начальныхъ образованій, на которыя ей приходится смотрѣть, какъ на исторически данныя, далѣ неразложимыя и потому обыкновенно необъяснимыя, то „*etymon*“ жеста можно считать установленнымъ лишь тогда, когда выяснено его психологическое значеніе и его связь съ всеобщими принципами выразительныхъ движеній. Здѣсь, слѣдовательно, вопросъ начинается какъ разъ въ томъ пунктѣ, гдѣ онъ кончается для этимологіи звукового языка. Значеніе языка жестовъ для вопросовъ психологіи языка вообще сказывается именно въ этомъ отношеніи. Языкъ жестовъ всегда остается до извѣстной степени въ стадіи первобытнаго состоянія, и тѣ слѣды историческихъ измѣненій, которые мы въ немъ наблюдаемъ, достаточны только для того, чтобы можно было признать и въ этомъ отношеніи его всеобщій языковой характеръ. Можно было бы даже сказать, что понятіе первоначальнаго языка, ко-торое въ области звукового языка является гипотетиче-скимъ представленіемъ первоначальной стадіи, въ языкѣ жестовъ превращается въ дѣйствительность, доступную непосредственному наблюденію. Это обстоятельство, если бы даже оно не имѣло никакого другого значенія, без-спорно полезно по крайней мѣрѣ тѣмъ, что оно доказы-ваетъ необходимость признанія первоначальнаго языка въ этомъ психологическомъ смыслѣ, т. е. неизбежность для естественно возникшаго языка всякаго рода такого перво-начальнаго періода, когда отношеніе между знакомъ и тѣмъ, что онъ обозначаетъ, было непосредственно на-глядное“ (I, 149—150).

Изъ этихъ словъ Вундта видно, какое значеніе въ своей системѣ онъ придаетъ языку жестовъ. Языкъ

жестовъ, по его мнѣнію, представляетъ такую первобытную ступень языка, какую для звукового языка мы можемъ только предполагать. Понятно, что Вундту необходимо признать языкомъ и „языкъ жестовъ“, такъ какъ только въ такомъ случаѣ въ этихъ двухъ явленіяхъ мы можемъ видѣть двѣ стадіи развитія одного и того же языка. Однако даже и въ этомъ случаѣ остается невыясненнымъ одинъ очень важный пунктъ; а именно: въ непрерывномъ развитіи языка долженъ былъ быть такой моментъ, когда молчаливое движеніе было замѣнено звукомъ, и важнѣе всего то, что эту замѣну мы не можемъ себѣ представить въ ея постепенномъ развитіи, а должны разсматривать, какъ переходъ къ совершенно новому принципу. Вундтъ очевидно чувствовалъ это затрудненіе и потому онъ не говоритъ о переходѣ жестовъ въ звуки, а говоритъ только о параллелизмѣ этихъ двухъ видовъ языка: въ звуковомъ языкѣ долженъ былъ быть такой же первобытный періодъ непосредственной понятности звуковъ, какой мы наблюдаемъ въ языкѣ жестовъ до настоящаго времени. Для того, чтобы этотъ параллелизмъ имѣлъ большую силу доказательства, Вундту и необходимо признать жесты языкомъ, такъ какъ только въ такомъ случаѣ будетъ доказана та психологическая необходимость существованія такого первобытнаго періода для всякаго языка, а слѣдовательно и для звукового. Но какъ бы ни старался Вундтъ доказать сходство явленій языка жестовъ съ звуковымъ языкомъ, все-таки аналогія никогда не превратится въ доказательство, тѣмъ болѣе что ему самому приходится подчеркивать и пункты различія между жестами и звуковымъ языкомъ. Мы не станемъ разбирать всѣхъ подробностей этой аналогіи, укажемъ только на то, какъ Вундтъ ее проводитъ.

Уже въ приведенной цитатѣ Вундтъ говоритъ о „діалектахъ“ въ языкѣ жестовъ, объ ихъ „этимологіи“, то же мы находимъ и далѣе; но кульминаціонной точки достигаетъ эта аналогія въ главѣ о „синтаксисѣ языка жестовъ“, въ которой Вундтъ доказываетъ существованіе въ языкѣ жестовъ не только „предложенія“, но и его частей, какъ

то: субъекта, объекта, прилагательного и глагола. Такое увлечение тѣмъ болѣе странно, что, какъ мы видѣли выше, самъ Вундтъ признаетъ свою терминологию лишь „образомъ, заимствованнымъ изъ звукового языка“, и сознается, что „значеніе этихъ выраженій существенно измѣняется при такомъ перенесеніи“ на языкъ жестовъ. Такимъ образомъ изъ словъ самого-же Вундта можно сдѣлать тотъ выводъ, что во всѣхъ подробностяхъ (въ діалектахъ, въ этимологіи, въ синтаксисѣ, въ предложеніи и т. д.) языкъ жестовъ „существенно“ отличается отъ звукового языка, и тѣмъ не менѣе остается, по мнѣнію Вундта, „настоящимъ языкомъ“. Чтобы быть послѣдовательнымъ, Вундтъ долженъ былъ бы признать, что и понятіе языка въ приложеніи къ „языку жестовъ“ существенно измѣняется. Онъ чувствуетъ, что факты приводятъ его къ этому выводу, и, желая во что бы то ни стало спасти „всеобщій языковой характеръ“ языка жестовъ, ссылается на „тѣ слѣды историческихъ измѣненій“, которые мы наблюдаемъ въ нѣкоторыхъ видахъ языка жестовъ. Въ данномъ случаѣ, слѣдовательно, уже способность къ „историческимъ измѣненіямъ“ признается критеріемъ „всеобщаго языкового характера“ жестовъ. Но съ этимъ признакомъ, какъ увидимъ, дѣйствительно очень важнымъ, дѣло обстоитъ еще хуже. Изъ изслѣдованій самого Вундта оказывается, что большинство этихъ историческихъ измѣненій въ жестахъ и ихъ значеніи происходитъ подъ вліяніемъ звукового языка (I, 201). Такимъ образомъ оказывается, что и то „сравнительно небольшое“ „количество знаковъ, измѣнившихся въ своей формѣ или въ значеніи“, которыхъ едва достаточно для признанія „всеобщаго языкового характера“ жестовъ, объясняется вліяніемъ звукового языка. Отсюда, мнѣ кажется, совершенно ясенъ выводъ, что даже Вундтовскій „всеобщій языковой характеръ“ мы можемъ найти только въ „настоящемъ языкѣ“, въ языкѣ звуковомъ. А потому научно мы не имѣемъ права распространять понятіе языка даже на „языкъ жестовъ“, не говоря уже о выразительныхъ движеніяхъ вообще (во всемъ животномъ мірѣ), какъ это дѣлаетъ Вундтъ.

Къ тому же выводу о неправильности распространения понятія языка на жесты и другія выразительныя движенія мы можемъ придти и другимъ путемъ. Мы видѣли, какое значеніе Вундтъ придаетъ „универсальности“ языка жестовъ, его общепонятности. Таковую же ступень первоначальнаго состоянія онъ предполагаетъ и для звуковаго языка. Въ этотъ періодъ отношеніе между жестомъ (или звукомъ) и его значеніемъ „было непосредственно наглядное“. Этимъ именно качествомъ въ языкѣ отличаются междометія: они непосредственно понятны. Поэтому языковѣды уже давно обратили вниманіе на то, что въ языкѣ существуютъ до настоящаго времени эти обломки первобытнаго состоянія человѣческой рѣчи. Сравнивая междометіе и слово, думали выяснитъ вопросъ о происхожденіи языка изъ первобытныхъ естественныхъ звуковъ, междометій. Такимъ образомъ междометія въ этихъ теоріяхъ развитія языка играютъ ту же роль, какую для Вундта играютъ жесты. Но разница между взглядами защитниковъ теоріи возникновенія языка изъ междометій и взглядами Вундта заключается въ томъ, что тѣ не относили междометіе къ языку въ собственномъ смыслѣ, между тѣмъ какъ Вундтъ причислилъ къ языку и жесты. Для тѣхъ начало языка лежитъ между междометіемъ и словомъ, для Вундта то и другое представляетъ различныя ступени языка. Необыкновенно тонко проведена параллель между междометіемъ и словомъ у Потебни въ его книгѣ „Мысль и языкъ“ (2 изд. Харьковъ 1892, стр. 90 и. д). Подробности этой характеристики насъ въ настоящую минуту не интересуютъ: намъ важно только обратить вниманіе на одну сторону ея. Потебня указываетъ здѣсь, что междометіе, обладая непосредственной понятностью, не имѣетъ ничего, что соотвѣтствовало бы значенію въ словѣ: оно имѣетъ смыслъ, именно какъ звукъ, и потому словами передать его значеніе невозможно. Слово, наоборотъ, своею звуковой стороною не имѣетъ никакого непосредственно яснаго смысла: оно является звуковымъ *знакомъ* совершенно опредѣленнаго *значенія*, при чемъ между этимъ значеніемъ и звукомъ нѣтъ никакой непосредственной связи. Съ этой точки зрѣнія непосредственная понятность, „универсаль-

ность“, по выраженію Вундта, является спеціальнымъ признакомъ междометія, т. е. какъ разъ того, что противопологается слову, языку. Поэтому можно сказать, что все то, что обладаетъ непосредственной понятностью, — не языкъ. Наоборотъ, языкъ долженъ непременно быть непонятенъ въ своей звуковой формѣ.

Въ связи съ этой противоположностью слова и междометія стоитъ еще и другая. Междометіе не имѣетъ исторіи въ языкѣ: оно также неизмѣнно, какъ тѣ аффекты, которые его вызываютъ. Оно каждый разъ создается вновь и уничтожается по прекращеніи аффекта. Слово, наоборотъ, передается отъ одного къ другому и въ этомъ процессѣ передачи претерпѣваетъ цѣлый рядъ измѣненій, которыя составляютъ его исторію. Такимъ образомъ междометіе является инертнымъ, а слово — живымъ, измѣняющимся, развивающимся. Эта способность слова къ измѣненію представляетъ весьма существенное и важное свойство языка: она отражаетъ въ себѣ развитіе человѣческой мысли съ одной стороны и является залогомъ ея дальнѣйшаго развитія съ другой. Прогрессъ мысли невозможенъ безъ прогресса языка и наоборотъ. Поэтому, если мы назовемъ языкомъ ту первобытную его стадію, когда еще не было слова, а были только междометія, то мы должны будемъ признать, что на этой стадіи господствовалъ полный застой какъ въ мысти, такъ и въ языкѣ. Развитіе языка начинается только съ того момента, когда междометіе перешло въ слово, и этимъ же моментомъ знаменуется возникновеніе языка, такъ какъ мы не можемъ себѣ представить языка безъ развитія. Съ этой точки зрѣнія становится совершенно понятнымъ, почему Вундтовскій „языкъ жестовъ“ оказывается такимъ первобытнымъ и почему изрѣдка наблюдаемая историческія измѣненія въ жестахъ возникаютъ лишь подъ влияніемъ звукового языка. Обладая непосредственной понятностью, „языкъ жестовъ“, какъ и междометіе, не имѣетъ исторіи и не способенъ измѣняться, приспособляясь къ развитію мысли: онъ не можетъ быть поэтому орудіемъ мысли; короче, онъ не можетъ быть „настоящимъ языкомъ“. Такимъ образомъ и съ этой стороны мы

приходимъ къ тому же заключенію, что понятіе языка мы не имѣемъ права распространять на такъ называемый „языкъ жестовъ“.

Этотъ споръ о границахъ понятія языка можетъ показаться несущественнымъ, такъ какъ онъ нисколько не измѣняетъ выводовъ. Все-таки слово развивается изъ междометія и по теоріи Вундта, какъ бы онъ ни мѣнялъ свою терминологію. Но дѣло въ томъ, что правильное установленіе такой границы весьма важно для языковѣдовъ, для историковъ языка. Мы видѣли, что междометіе не имѣетъ исторіи; поэтому историку языка здѣсь нечего дѣлать: здѣсь область чисто психологическая. Понятно съ другой стороны, что психологъ хочетъ раздвинуть границы языка и захватить также и междометіе: для него оно представляетъ огромное удобство именно тѣмъ, что здѣсь психологическіе факторы не затемнены историческими перемѣнами. Совершенно иначе смотритъ на дѣло языковѣдъ. Исходя изъ исторически засвидѣтельствованныхъ языковыхъ явленій онъ старается прослѣдить исторію языка до самаго момента его возникновенія. Этотъ моментъ, конечно, неизвѣстенъ, и потому языковѣдъ старается уяснить себѣ его путемъ косвенныхъ умозаключеній, а не прямыхъ наблюденій. Тамъ, гдѣ кончается исторія языка, лежитъ обширная, но неизвѣстная намъ область до-историческаго существованія языка и лишь за нею, еще дальше, — періодъ возникновенія языковъ или языка. Изслѣдователь, переходя къ вопросу о происхожденіи языка, естественно долженъ измѣнить характеръ своихъ поисковъ. Анализируя существующіе языки и отыскивая силы, постоянно дѣйствующія въ нихъ, изслѣдователь ищетъ въ окружающихъ условіяхъ и въ природѣ чловѣка причинъ, которыя способствовали развитію этихъ силъ и такому ихъ сочетанію, какое необходимо для возникновенія языка. Открыть первобытный языкъ языковѣдъ не имѣетъ никакой надежды.

Такимъ образомъ, если Вундтъ, анализируя „языкъ жестовъ“, думаетъ, что онъ непосредственно наблюдаетъ первобытную стадію языка, то ошибка его заключается

именно въ томъ, что онъ изслѣдуетъ при этомъ не языкъ, а лишь одно изъ необходимыхъ условій его возникновенія. Жесты и выразительныя движенія вообще имѣютъ общую съ языкомъ психологическую почву, и съ этой стороны ихъ изученіе весьма важно для пониманія языка; но это все же еще не языкъ. Языковѣды прекрасно понимали это и до Вундта. О выразительныхъ движеніяхъ, только не употребляя этого термина и, быть можетъ, ошибочно называя ихъ рефлекторными движеніями, говорилъ уже Штейнталь: то же явленіе имѣетъ въ виду и Потенбня, говоря о „движеніяхъ, зависимыхъ отъ состоянія души“ (Мысль и языкъ<sup>2</sup>, 81). Такимъ образомъ теорія Вундта въ сущности та же, но онъ подвергъ выразительныя движенія и жесты такому психофизиологическому анализу, какого не давалъ еще ни одинъ языковѣдъ. Въ этомъ и заключается крупная заслуга Вундта. Поучительность этого анализа для языковѣда нисколько не умаляется оттого, что Вундтъ называлъ эти явленія языкомъ. Лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда Вундтъ переноситъ термины языковыхъ явленій на жесты, его изображеніе нѣсколько искажаетъ дѣйствительность, и явленіямъ придается такой смыслъ, какого они имѣть не могутъ.

Чтобы покончить съ жестами и выразительными движеніями, намъ нужно еще остановиться на Вундтовскомъ терминѣ „звукового жеста“ (Lautgeberde). Какъ видно уже изъ самаго названія, Вундтъ ставитъ „звуковой жестъ“ между языкомъ жестовъ и звуковымъ языкомъ. И здѣсь онъ является продолжателемъ того, что начали другіе, и мысль его заслуживаетъ серьезнаго вниманія. Штейнталь, выясняя происхожденіе языка, старался распространить понятіе звукоподражанія даже и на такіе случаи, когда обозначаемый предметъ не издаетъ никакого звука и когда, слѣдовательно, о звукоподражаніи въ сущности не можетъ быть и рѣчи. Мы не станемъ говорить о тѣхъ ошибкахъ, въ которыя впадаетъ Штейнталь при этомъ; но намъ кажется, что Вундтъ своимъ „звуковымъ жестомъ“ весьма удачно выяснилъ, какое значеніе можетъ имѣть это звуко-

подражаніе. Разсматривая языкъ, какъ выразительное движеніе, Вундтъ и въ звукоподражаніи обращаетъ главное вниманіе на движеніе, на подражательный жестъ; но въ данномъ случаѣ движеніе это выполняется органами рѣчи. Результатомъ такого движенія, конечно, является звукъ, но такъ какъ моментъ подражанія лежитъ въ движеніи органовъ рѣчи, въ артикуляціи, а не въ звукѣ, то естественно, что звуковое сходство можетъ быть только случайнымъ результатомъ такого „звукового жеста“. Такое объясненіе находитъ себѣ подтвержденіе въ нѣкоторыхъ словахъ, обозначающихъ „такіе органы и дѣйствія, которыя имѣютъ отношеніе къ образованію звуковъ рѣчи“ (I, 324). Такіе органы, какъ языкъ, ротъ и такія дѣйствія, какъ ѣсть, дуть, часто обозначаются такими звуками, для произведенія которыхъ необходимо совершить какое-либо энергичное движеніе обозначаемыми органами или выполнить самое обозначаемое дѣйствіе. Такъ въ названіяхъ „языка“ очень часто наблюдается звукъ l (напр. полинез. *elelo*), въ названіяхъ дѣйствія „дуть“ звукъ p (напр. малайск. *pirut*). Насколько широко распространены въ языкахъ эти „звуковые жесты“, сказать довольно трудно. Несомнѣнно, что Вундтъ преувеличиваетъ ихъ значеніе, но во всякомъ случаѣ рядомъ съ чистымъ звукоподражаніемъ при образованіи новыхъ словъ въ языкѣ этотъ „звуковой жестъ“ игралъ и играетъ извѣстную роль.

Мы не будемъ уже останавливаться на содержаніи третьей главы, трактующей о звукахъ языка, въ которой говорится также и о только что упомянутомъ „звуковомъ жестѣ“. Она содержитъ четыре отдѣла: о голосовыхъ звукахъ въ царствѣ животномъ, о звукахъ дѣтскаго языка, объ естественныхъ звукахъ и ихъ измѣненіяхъ (междометія) и о звукоподражаніяхъ въ языкѣ. Какъ ни интересны эти вопросы сами по себѣ, они не относятся, по нашему мнѣнію, къ языку въ собственномъ смыслѣ слова. Наше отношеніе къ нимъ мы постарались выяснитъ по поводу „языка жестовъ“; но повторяемъ: не относя этихъ вопросовъ къ области языкознанія, мы вполне признаемъ ихъ значеніе для языкознанія и не останавливаемся

на нихъ только потому, что торопимся перейти къ другимъ вопросамъ, затронутымъ Вундтомъ, которые имѣютъ для языковѣда непосредственный интересъ.

### III.

Начиная съ четвертой главы, Вундтъ занять вопросами, несомнѣнно относящимися къ области языковыхъ явленій. Четвертая глава (I, 348—490) трактуетъ объ измѣненіи звуковъ (Lautwandel), пятая (I, 491—627) — объ образованіи словъ, шестая (II, 1—214) — о формахъ слова, седьмая (II, 215—419) — о строѣ предложенія, восьмая (II, 420—583) — объ измѣненіи значенія словъ, наконецъ, девятая (II, 584—614) о происхожденіи языка. Этимъ краткимъ обзоромъ достаточно характеризуется содержаніе труда Вундта съ фактической стороны: всякому, конечно, хорошо знакомы перечисленные въ этомъ оглавленіи факты. Важнѣе то, какъ эти факты освѣщаются Вундтомъ. Прежде всего нужно помнить, что Вундтъ занять психологіей языка, такъ что его главное вниманіе направлено на психологическую основу языковыхъ явленій. Такъ, говоря объ образованіи словъ, Вундтъ прежде всего останавливается на „психо-физическихъ условіяхъ образованія слова“, разсматриваетъ теорію локализаціи въ мозгу центровъ рѣчи, останавливается на патологическихъ разстройствахъ рѣчи, наконецъ подробно разбираетъ „психологію словесныхъ представленій“, при чемъ разлагаетъ слово съ психологической стороны на шесть элементовъ: акустическое представленіе звуковъ, соотвѣтствующее моторное представленіе артикуляціи, оптическое представленіе написаннаго слова, соотвѣтствующее моторное представленіе движеній пишущей руки, представленіе значенія слова и соединенный съ нимъ тонъ чувства (Gefühlston). Связь между этими элементами слова Вундтъ старается установить путемъ наблюденія, пользуясь при этомъ особымъ тахистоскопическимъ методомъ, который онъ подробно излагаетъ. Подобныя чисто психо-физиологическія изслѣдованія и наблюденія из-

лагааетъ Вундтъ также и въ главѣ о ритмѣ и удареніи. Нельзя не отмѣтить того, что во всѣхъ подобныхъ случаяхъ Вундтъ отступаетъ отъ того метода, который онъ особенно подчеркивалъ въ своемъ возраженіи Дельбрюку: въ этихъ случаяхъ онъ не изъ языка извлекаетъ законы, которые хочетъ къ нему примѣнить, а изъ чисто психологическихъ наблюденій. Слѣдовательно, здѣсь онъ самъ признаетъ прикладную роль психологіи по отношенію къ языкознанію. Но это между прочимъ.

Нельзя не обратить вниманія также и еще на одну сторону изложенія, которая несомнѣнно затрудняетъ пониманіе книги Вундта. Это — скудость примѣровъ. Зачастую на многихъ страницахъ разбираются весьма сложные вопросы безъ всякой иллюстраціи, такъ что нерѣдко при чтеніи приходится самому подбирать примѣры, причемъ иногда оказывается, что Вундтъ разумѣетъ, повидимому, нѣчто иное. Въ такихъ случаяхъ трудно бываетъ ручаться за то, что понимаешь автора совершенно правильно. Въ иныхъ случаяхъ при чтеніи изложенія Вундта чувствуется, что за его общими соображеніями скрывается какой-то конкретный случай, и тѣмъ досаднѣе становится, что не имѣешь полной увѣренности въ правильномъ пониманіи его словъ.

Прежде чѣмъ приступить къ болѣе подробному разсмотрѣнію нѣкоторыхъ новыхъ взглядовъ Вундта, нужно еще отмѣтить, съ какихъ точекъ зрѣнія они будутъ насъ интересовать. Разбирая какой-либо вопросъ, Вундтъ прежде всего даетъ очень обстоятельное изложеніе взглядовъ, господствующихъ въ настоящее время въ языкознаніи; затѣмъ подвергаетъ эти взгляды критикѣ, и наконецъ или отвергаетъ ихъ, или принимаетъ, или исправляетъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ языковѣдъ встрѣчаетъ очень много уже извѣстнаго, которое можетъ интересовать его развѣ только тѣмъ, какую форму далъ ему Вундтъ въ своемъ изложеніи. Эту сторону изложенія Вундта мы оставимъ безъ разсмотрѣнія, такъ какъ это свелось-бы къ повторенію того, что всякому языковѣду извѣстно, или къ критикѣ того, что въ сущности не характеризуетъ Вундта.

Чтобы уловить оригинальные взгляды Вундта, мы должны рассмотреть лишь тѣ части его книги, гдѣ дается либо критика существующихъ теорій, либо собственное освѣщеніе фактовъ. Разбирая многочисленныя психологическія объясненія языковыхъ явленій, разбросанныя въ различныхъ сочиненіяхъ и статьяхъ чисто лингвистическаго характера, Вундтъ, конечно, могъ яснѣе видѣть противорѣчія въ нихъ и поэтому могъ многое исправить и привести въ систему. Эти поправки, несомнѣнно, имѣютъ для языковѣдовъ весьма важное значеніе, такъ какъ формулируютъ совершенно точно и въ общей формѣ то, что они только предугадывали. Эти поправки, по нашему мнѣнію, и являются наиболѣе цѣнными для языкознанія. Иногда Вундтъ пытается дать совершенно новое толкованіе языковымъ явленіямъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда языковѣды вовсе не отваживались на это; но такія объясненія едва-ли найдутъ сторонниковъ въ средѣ языковѣдовъ, такъ какъ они обыкновенно страдаютъ нѣкоторою произвольностью и даже недоказуемостью. Наконецъ, есть третій рядъ мыслей въ сочиненіи Вундта, которыя на нашъ взглядъ прямо вредны для языкознанія, не принося, повидимому, никакой пользы и психологу. Это такіе случаи, когда съ психологической точки зрѣнія Вундту кажутся несущественными тѣ различія, которыя были добыты языковѣдами нерѣдко съ большимъ трудомъ. Здѣсь Вундтъ прямо старается вернуть языкознаніе къ прежнимъ ошибкамъ, и отъ такихъ взглядовъ языковѣдовъ необходимо прямо предостеречь. Въ дальнѣйшемъ мы встрѣтимся со всѣми этими тремя видами взглядовъ Вундта; но мы не будемъ классифицировать мысли Вундта по этимъ тремъ степенямъ ихъ пригодности для языкознанія; для насъ достаточно пока одного указанія на общій ихъ источникъ, т. е. на чисто психологическую точку зрѣнія, которая для языковѣда не можетъ совпадать съ лингвистическою или историческою, между тѣмъ какъ Вундту эти различія иногда кажутся несущественными.

Такъ какъ вся почти исторія новѣйшаго языкознанія сводится къ исторіи разработки вопросовъ объ измѣненіи

звукѣ въ языкѣ, то совершенно понятно, что Вундтъ именно въ области такъ называемыхъ звуковыхъ законовъ и ихъ психологическаго толкованія нашель наиболѣе обильную жатву. Возникшая въ серединѣ семидесятыхъ годовъ девятнадцато вѣка „новограмматическая“ школа, какъ извѣстно, исходила изъ принципа „ненарушимости“ (Ausnahmlosigkeit) звуковыхъ законовъ, который въ сущности сводился къ необходимому для всякаго научнаго изслѣдованія признанію законѣрности изслѣдуемыхъ явленій. Встрѣчающіяся на самомъ дѣлѣ весьма нерѣдкія „исключенія“ объяснялись тѣмъ, что дѣйствіе звуковыхъ законовъ могло быть парализовано вліяніемъ какихъ-либо иныхъ силъ. Всѣ эти парализующія дѣйствіе звуковыхъ законовъ силы, по ученію новограмматиковъ, сводились къ дѣйствію ассоціаціи или аналогіи. Такимъ образомъ выработался довольно простой типъ толкованія звуковыхъ явленій: путемъ наблюденія устанавливался „звуковой законъ“, который объяснялся дѣйствіемъ причинъ механическихъ, лежащихъ въ способѣ артикуляціи звуковъ, а для „исключеній“ предполагалось дѣйствіе аналогіи, и языковѣды старались только подыскать какую-либо форму, давшую, по ихъ мнѣнію, первый толчекъ дѣйствію аналогіи. Звуковой законъ объяснялся механизмомъ артикуляціи (lautmechanisch), все остальное являлось образованіемъ по аналогіи (Analogiebildung). Эта теорія была разработана въ подробностяхъ Паулемъ въ его „Принципахъ историческаго изслѣдованія языка“ (Prinzipien der Sprachgeschichte. 3 Aufl. 1898). Вундтъ подвергаетъ ее своей критикѣ, и отмѣчаетъ въ ней нѣкоторыя дѣйствительно слабыя стороны.

Критику свою онъ начинаетъ съ гипотезъ телеологическаго направленія, которыя стараются свести языковыя явленія „къ извѣстнымъ мотивамъ цѣлесообразности“, предполагая для отдѣльных видовъ звуковыхъ измѣненій извѣстныя „стремленія“ (Triebe). „Такихъ стремленій насчитывалось три: во-первыхъ, стремленіе къ удобству; во-вторыхъ, стремленіе сохранять значашіе звуки или различать ихъ въ цѣляхъ различенія понятій, и въ-третьихъ, стремленіе къ единообразію формъ, которое подъ вліяніемъ другихъ словесныхъ

формъ обусловливаетъ возникновеніе „ложныхъ аналогій, т. е. звуковыхъ образованій, противорѣчащихъ обычнымъ звуковымъ законамъ“ (I, 352). Эти телеологическія гипотезы, представляющія собою довольно низкую ступень того, что Вундтъ называетъ „искусствомъ вульгарной психологіи“, вскорѣ были видоизмѣнены въ томъ смыслѣ, что „на мѣсто случайности была поставлена естественная необходимость (Naturnothwendigkeit) и на мѣсто сознательнаго намѣренія — сила безцѣльно дѣйствующихъ психическихъ мотивовъ... Звуковой законъ представлялъ принципъ строгой законѣрности, аналогія являлась результатомъ бессознательныхъ психическихъ силъ, результатомъ, который иногда нарушаетъ всеобщее дѣйствіе звуковыхъ законовъ, но съ другой стороны оказываетъ вмѣстѣ съ ними тѣмъ большую опору „ненарушимости законовъ“. Ибо именно тамъ, гдѣ оканчивается физическій механизмъ звуковыхъ законовъ, начинается психическій механизмъ основанныхъ на ассоціаціяхъ образованій по аналогіи. Такимъ образомъ оба эти момента звукового измѣненія различались какъ *физиологическій* и *психологическій*, и въ соотвѣтствіи съ ними было выставлено такое требованіе: если какое-либо звуковое явленіе не можетъ быть выведено изъ физическихъ звуковыхъ законовъ, то его слѣдуетъ сводить къ психическому механизму аналогіи“ (I, 355—356). Этотъ принципъ, который признаетъ значеніе психическаго фактора только въ крайнемъ случаѣ, когда оказывается безсильнымъ звуковой законъ, вскорѣ долженъ былъ уступить мѣсто другому взгляду. Звуковой законъ и аналогія стали признаваться равноправными; послѣдней иногда оказывалось даже предпочтеніе, какъ силѣ, поддерживающей въ языкѣ стройную систему формъ. Такимъ образомъ языковѣды пришли къ различенію двухъ видовъ силъ, обусловливающихъ звуковыя измѣненія въ языкѣ. Однако, какъ бы ни оцѣнивали они отношеніе этихъ силъ, въ концѣ концовъ они должны были прійти къ тому заключенію, что и физиологическіе, и психологическіе факторы дѣйствуютъ и постоянно, и совмѣстно, причемъ каждое языковое явленіе есть результатъ совмѣстнаго

дѣйствія силъ и того, и другого порядка. Вундтъ дѣлаетъ языковѣдамъ справедливый упрекъ въ томъ, что они не руководились этимъ совершенно очевиднымъ принципомъ, который онъ называетъ *принципомъ complicationi причинъ*. Въмѣсто того поступаютъ совершенно иначе: „лишь только указана *одна* причина даннаго явленія, изслѣдованіе дальнѣйшихъ условій его существованія считается даже излишнимъ“ (I, 360). Хотя ни одинъ языковѣдъ не признаетъ справедливымъ этотъ упрекъ въ томъ видѣ, какъ онъ выраженъ въ приведенныхъ словахъ Вундта, такъ какъ никому, конечно, не придетъ въ голову признавать „излишнимъ“ какое-бы то ни было изслѣдованіе языковыхъ явленій: тѣмъ не менѣе Вундтъ правъ въ томъ отношеніи, что языковѣдамъ обыкновенно приходится довольствоваться указаніемъ одной только причины явленія и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ удается указать на какой-либо иной факторъ, несомнѣнно обусловливающей данное явленіе, сверхъ подмѣченной причины. Языковѣды вынуждены такъ поступать въ виду трудности самаго изслѣдованія. Всякое сложное явленіе остается для насъ загадочнымъ, пока мы при благопріятныхъ условіяхъ не уловимъ какого-либо *одного* фактора, его обусловливающаго. И этотъ факторъ необходимо долженъ быть одинъ, такъ какъ только въ такомъ случаѣ онъ можетъ быть правильно подмѣченъ. Сколько-бы ни было факторовъ, вызывающихъ данное явленіе, для изслѣдованія его необходимо тѣмъ или инымъ путемъ, наблюденіемъ или опытомъ, уединять эти факторы или подмѣчать дѣйствіе одного при прочихъ равныхъ условіяхъ. Языковѣды, слѣдовательно, не руководились въ своихъ изслѣдованіяхъ „принципомъ простоты“ языковыхъ явленій, а лишь общепринятымъ методомъ анализа. Справедливо однако то, что во многихъ случаяхъ, эта методологическая *необходимость* превращалась въ *принципъ* объясненія языковыхъ явленій. Это превращеніе происходило совершенно безсознательно: сосредоточивая свое вниманіе на анализѣ языковыхъ явленій и выдѣляя какой-либо *одинъ* факторъ, языковѣдъ думалъ, что онъ уже объяснилъ все явленіе этимъ факторомъ. Нѣкоторою

поправкою къ этой односторонности объясненія являлось то обстоятельство, что другіе языковѣды выдвигали другіе факторы для объясненія того же явленія, хотя такъ же односторонне. Отсюда многочисленные споры, бесплодные по существу, такъ какъ обѣ стороны защищаютъ частичную истину, но важные именно тѣмъ, что они приводили изслѣдователей, хотя долгимъ и труднымъ путемъ, къ признанію того принципа компликаціи причинъ, который такъ ясно и опредѣленно выставленъ Вундтомъ. Въ этомъ, несомнѣнно, крупная заслуга Вундта.

Однако, мнѣ кажется, что Вундтъ преувеличиваетъ значеніе этого принципа, говоря, что онъ „долженъ быть положенъ въ основаніе оцѣнки фактическаго положенія вещей“ (der Beurtheilung des Thatbestandes). Что собственно разумѣетъ Вундтъ подъ оцѣнкой фактическаго положенія вещей, сказать довольно трудно. Если онъ имѣетъ въ виду идеально-полное объясненіе какого-бы то ни было языковаго явленія, то, конечно, здѣсь принципъ компликаціи причинъ долженъ найти себѣ полное приложеніе; при такомъ объясненіи не только должны быть перечислены всѣ факторы, обусловливающіе данное явленіе, но должно быть опредѣлено и ихъ взаимоотношеніе другъ къ другу, должны быть съ такою точностью опредѣлены и сила ихъ дѣйствія, и ихъ направленіе, чтобы можно было указать, насколько дѣйствіе одного фактора парализуется или усиливается дѣйствіемъ другого. Дѣйствительность однако далеко не соотвѣтствуетъ такому идеалу. Языковѣду по большей части приходится довольствоваться однимъ только констатированіемъ извѣстнаго историческаго измѣненія, опредѣленіемъ его направленія, и какъ было уже сказано, указаніемъ лишь одной, самой очевидной причины. Теоретически, исходя изъ принципа компликаціи причинъ, мы можемъ сказать, что данное измѣненіе вызвано цѣлою массою факторовъ, дѣйствующихъ въ различныхъ направленіяхъ и, вѣроятно, въ большей своей части другъ друга уничтожающихъ. Объ этомъ мы можемъ судить по тому, что случаи полнаго равновѣсія, т. е. отсутствія измѣненія въ словѣ мы наблюдаемъ постоянно, и даже все говорить

за то, что такое равновѣсіе есть явленіе наиболѣе нормальное въ языкѣ. Это положеніе прекрасно можно сравнить съ положеніемъ вѣсовъ, находящихся въ равновѣсіи: сколько-бы ни лежало гирь на обѣихъ чашкахъ вѣсовъ, мы не наблюдаемъ никакой видимой разницы въ положеніи коромысла, которое стоитъ такъ же горизонтально, какъ и тогда, когда на чашкахъ вѣсовъ не лежитъ ничего. Точно также и при отклоненіи отъ положенія равновѣсія мы можемъ констатировать даже минимальную *разницу* между вѣсомъ той и другой чашки, но *абсолютнаго* вѣса грузовъ, лежащихъ на вѣсахъ, мы не можемъ опредѣлить. Такъ точно и языковѣдь обыкновенно долженъ довольствоваться опредѣленіемъ этой разницы и выясненіемъ причины еѣ производящей. При такомъ положеніи дѣла языковѣдь по большей части можетъ сказать, что и одна указанная имъ причина явленія (или измѣненія) достаточно его объясняетъ. Совмѣстное же дѣйствіе всѣхъ факторовъ всегда ускользаетъ отъ насъ.

Чѣмъ глубже изучались явленія языка, тѣмъ болѣе и болѣе выяснялось, что намъ нужно непременно выяснитъ свойства этой ускользающей отъ насъ языковой атмосферы. Каждое улавливаемое нами звуковое измѣненіе и его объясненіе должно представлять незначительную частицу этой атмосферы, а болѣе полное представленіе о ней мы можемъ составить только изъ комбинаціи этихъ частицъ, т. е. объясненій отдѣльныхъ языковыхъ явленій. Это стремленіе къ уясненію самыхъ общихъ силъ, дѣйствующихъ въ языкѣ, выразилось также еще и въ томъ, что языковѣды отыскивали новые методы изученія языковыхъ явленій. Было выставлено требованіе, чтобы изслѣдованіе велось по возможности статистически, чтобы каждый отдѣльный случай нашелъ себѣ мѣсто. Примѣненіе этого метода уже дало нѣкоторые весьма важные, и при томъ совершенно неожиданные результаты. Такимъ образомъ въ этихъ изслѣдованіяхъ мы можемъ видѣть результатъ безсознательнаго приложения Вундтовскаго принципа компликаціи причинъ. Этотъ принципъ ставитъ языковѣдамъ задачу отысканія новыхъ методовъ изслѣдованія того, что мы

назвали языковой атмосферой. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что языкознаніе отнынѣ должно пойти инымъ путемъ. Признаніе принципа компликаціи причинъ должно внести лишь больше сознательности въ постановку вопросовъ и въ опредѣленіе направленія научныхъ разысканій.

Вундтъ однако придаетъ своему принципу, повидимому, гораздо большее значеніе. Не разъ онъ старается приложить его къ объясненію тѣхъ или другихъ фактовъ. Но такъ какъ всѣхъ причинъ явленія не знаетъ и Вундтъ, такъ же какъ до него не знали языковѣды, то примѣненіе принципа компликаціи причинъ къ отдѣльнымъ фактамъ сводится въ сущности къ придумыванію возможныхъ причинъ. Къ такому способу толкованія фактовъ прибѣгали языковѣды и до Вундта, но они имѣли передъ нимъ то преимущество, что не оправдывали этого способа принципомъ: они знали, что это лишь предположенія, болѣе или менѣе вѣроятныя. Подкрѣпляя такой способъ толкованія принципомъ компликаціи причинъ, Вундтъ какъ-будто придаетъ своимъ выводамъ большую степень вѣроятности, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ такой общій принципъ ничѣмъ не можетъ содѣйствовать раскрытію большого количества истинныхъ причинъ явленія. Въ непосредственномъ примѣненіи къ толкованію фактовъ онъ можетъ быть сведенъ только къ признанію существованія неопредѣленнаго количества неизвѣстныхъ факторовъ. Его роль, слѣдовательно, въ такихъ случаяхъ сводится къ роли общей фразы, хотя и выражающей несомнѣнную истину, но немогущей ни на іоту подвинуть дѣло впередъ. Принципъ можетъ быть даже вреденъ для дѣла, если, ссылаясь на него, стануть признавать возможное вѣроятнымъ, а вѣроятное достовѣрнымъ.

Что дѣйствительно принципъ компликаціи причинъ не приложимъ пока къ толкованію фактовъ, это яснѣе всего сказалось на попыткѣ Вундта дать общее объясненіе „закона Гримма“ или германскаго перебоя. Въ сущности германскій перебой представляетъ собою совокупность многихъ звуковыхъ измѣненій, не всегда идущихъ параллельно, и потому попытку Вундта дать одно

общее объясненіе этому сложному явленію нельзя признать удачной уже по замыслу. Когда же мы взглянемъ на его объясненіе поближе, то увидимъ, что оно основывается на значительномъ количествѣ недоказанныхъ предположеній. Поэтому оно и встрѣтило совершенно отрицательное отношеніе со стороны Дельбрюка, который рѣшительно разбиваетъ всѣ доводы Вундта, указывая на несоотвѣтствіе ихъ съ установленными фактами (см. Delbr. 102—105). Мы не станемъ повторять доводовъ Дельбрюка, такъ какъ для насъ не столь важны фактическія ошибки Вундта, сколько — принципиальная невѣроятность такого способа объясненія языковыхъ явленій.

Приступая къ своей попыткѣ объясненія Гриммова закона, Вундтъ указываетъ на то, что „существуетъ *одно* условіе, которое въ теченіе предшествующихъ столѣтій измѣнялось постоянно, въ малыхъ промежуткахъ незаметно, но въ общемъ неудержимо: это *быстроты рѣчи*. Она, повидимому, развивалась въ соотвѣтствіи съ растущимъ разнообразіемъ культурныхъ вліяній и съ параллельно возрастающей быстротой смѣны психическихъ возбужденій“ (I, 418). Непосредственныхъ доказательствъ ускоренія рѣчи, по собственному признанію, Вундтъ не знаетъ, но заключаетъ объ этомъ явленіи косвенно, во-1-хъ, изъ возрастающей быстроты музыкальнаго такта (указывается на то, что напр. симфоніи Бетховена исполняются теперь въ болѣе быстромъ темпѣ, нежели въ его время), и во-вторыхъ, изъ стили, изъ большей обстоятельности старинной грамматической конструкціи, которая, по мнѣнію Вундта, свидѣтельствуетъ о меньшей быстротѣ старинной рѣчи. Вотъ это-то ускореніе темпа рѣчи и вызвало, по мнѣнію Вундта, явленія перебоя въ германскихъ языкахъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, Вундтъ производитъ слѣдующій опытъ; онъ произноситъ отдѣльныя группы звуковъ съ различною быстротой и замѣчаетъ, что прежде всего отъ ускоренія темпа претерпѣваютъ измѣненія взрывные звуки, „которые по своей природѣ въ наибольшей степени являются задержками потока рѣчи“ (I, 420). Производя этотъ опытъ надъ различными звуками, затронутыми гер-

манскими переборами, Вундтъ получаетъ какъ разъ тѣ звуки, которые засвидѣтельствованы исторически. Признавая, что ускореніе рѣчи не можетъ вполне объяснить всѣ явленія перебора, Вундтъ, слѣдуя принципу сложности причинъ, старается угадать еще и другія условія, дѣйствовавшія ускоряющимъ или задерживающимъ образомъ. Къ ускоряющимъ причинамъ Вундтъ относитъ „всѣ тѣ, которыя сопровождаютъ крупный и быстро совершающійся переворотъ въ культурѣ, какъ покореніе туземнаго населенія воинственными переселенцами и вызываемое этимъ измѣненіе государственнаго строя“. Къ „задерживающимъ силамъ“ относятся „всѣ культурныя условія противоположнаго характера, какъ связанная съ опредѣленной осѣдлостью выработка формъ жизни, образованіе закрѣпленныхъ языкомъ формулъ культа и права, наконецъ, возникновеніе письменности“ . . . (I, 424).

Разсматривая это объявленіе закона Гримма, мы видимъ, что все оно построено на недосказанныхъ и совершенно произвольныхъ положеніяхъ. Даже самый главный факторъ перебора, ускореніе рѣчи, оказывается вовсе недоказаннымъ и даже, по признанію самого Вундта, едва ли доказуемымъ. Опытъ, которымъ Вундтъ старается подкрѣпить свою гипотезу, поражаетъ наивностью постановки: если человѣкъ знаетъ изъ какого звука какой другой звукъ долженъ произойти, то что удивительнаго въ томъ, что именно желаемые звуки и получаются въ результатъ такого опыта ускоренія рѣчи? Что же касается дальнѣйшихъ причинъ, то слѣдовало-бы по крайней мѣрѣ показать, что явленія передвиженія согласныхъ совпадаютъ съ моментами завоеваній и измѣненій государственнаго строя и прекращаются съ установленіемъ осѣдлости, выработкой права и письменности. Безъ этого всѣ предположенія Вундта остаются общей фразой въ родѣ тѣхъ обычныхъ въ учебникахъ исторіи указаній на зависимость культуры отъ климата, устройства поверхности, береговой линіи и другихъ географическихъ условій: въ эти сомнительныя положенія многіе вѣрятъ только потому, что ихъ часто повторяютъ, между тѣмъ какъ связь между

объясняемымъ явленіемъ и указываемой причиной настолько отдаленная, что едва-ли даже можетъ быть доказана. Намъ думается поэтому, что гипотеза Вундта должна быть нами отвергнута уже по одному тому, то она *придумана* имъ для объясненія Гриммова закона и вовсе не выведена изъ явленій перебоя. Изъ этого вовсе не слѣдуетъ дѣлать того вывода, что темпъ рѣчи не играетъ никакой роли въ звуковыхъ измѣненіяхъ и не могъ играть роли въ германскомъ перебоѣ. Напротивъ, въ послѣднее время и на этотъ факторъ звуковыхъ измѣненій обращено вниманіе: но практическое примѣненіе онъ можетъ и долженъ найти лишь тамъ, гдѣ факты на него указываютъ, гдѣ, напр., двѣ параллельныя формы слова, одна болѣе полная, другая болѣе краткая, указываютъ на свое происхожденіе изъ различныхъ темповъ рѣчи.

Эта совершенно неудачная попытка чисто психологическаго объясненія звуковыхъ измѣненій поучительна для насъ только въ одномъ отношеніи. Мы видимъ, что на практикѣ Вундтъ самъ держится того же принципа единой причины, какъ и другіе языковѣды, и принципу компликации причинъ придаетъ подчиненное значеніе, значеніе фона, на которомъ вырисовывается еще ярче основная причина (ускореніе рѣчи). Это еще болѣе убѣждаетъ насъ въ справедливости того пониманія „компликации причинъ“, которое мы выше изложили: принципъ этотъ настолько широкъ, что къ практическому изслѣдованію непосредственно неприложимъ; онъ важенъ лишь для правильной постановки вопросовъ и для правильной оцѣнки добытыхъ результатовъ. Языковѣды должны помнить, что они обыкновенно подмѣчаютъ лишь одну изъ многихъ неизвѣстныхъ причинъ явленія. Вотъ и все.

#### IV.

Мы указывали уже раньше на оригинальное пониманіе Вундтомъ исторіи и исторической точки зрѣнія;

было упомянуто также и о томъ, что эта особенность взгляда Вундта вызвала не мало недоразумѣній между нимъ и Дельбрюкомъ. Историческая точка зрѣнія Дельбрюка оказывается совершенно непонятной для Вундта, но и Вундтовская точка зрѣнія непонятна для историка. Онъ говоритъ, напр., что „задачи психолога начинаются тамъ, гдѣ кончаются задачи историка“ (I, 623). Положимъ, это утверженіе онъ ограничиваетъ указаніемъ, что дѣло обстоитъ „почти“ такъ, и что это касается вопросовъ доисторическаго періода языковъ; но для историка языка и съ этими ограниченіями мысль Вундта не становится справедливѣе. Прежде всего языковѣды признаютъ, что историческая разработка вопросовъ языкознанія *всегда* нуждается въ психологическомъ освѣщеніи добытыхъ фактовъ, и въ этомъ смыслѣ задачи историка и задачи психолога языка идутъ совершенно параллельно. Отъ перехода къ періоду до-историческому, очевидно, дѣло не можетъ переимѣниться: конечно, тутъ нѣтъ уже достовѣрныхъ данныхъ, но ихъ нѣтъ какъ для историка, такъ и для психолога. Если психологъ имѣетъ право предполагать, что въ до-историческій періодъ дѣйствовали въ языкѣ тѣ же психическія силы, что и на нашихъ глазахъ, то съ другой стороны невѣроятна будетъ всякая гипотеза, которая изъ психологическихъ соображеній будетъ строить до-историческій періодъ языка, предполагая такую смѣну явленій, какой не даетъ историческій опытъ. Слѣдовательно, какъ историкъ, такъ и психологъ имѣютъ одинаковое право на построеніе гипотетическаго до-историческаго періода языка, или, вѣрнѣе, одинаково не имѣютъ на это права. Во всякомъ случаѣ, если сравнить результаты, добытые въ этомъ отношеніи историками, съ тѣмъ, что сдѣлали психологи, то въ смыслѣ достовѣрности предпочтеніе, конечно, нужно отдать историкамъ. Они нашли способъ возстановленія т. наз. индо-европейскаго праязыка съ такою точностью, о которой психологи не могутъ и мечтать. Я имѣю въ виду здѣсь попытки психологовъ разрѣшить вопросъ о происхожденіи языка. Конечно, здѣсь часто психолога нельзя отдѣлить отъ историка, но несомнѣнно то, что методъ возстановленія индо-европейскаго

языка по своему характеру историческій, а отнюдь не психологическій.

Такимъ образомъ Вундтовская точка зрѣнія страдаетъ тою непослѣдовательностью, что историческое развитіе языка признается только тамъ, гдѣ его исторія засвидѣтельствована памятниками. Гдѣ нѣтъ памятниковъ, тамъ нѣтъ и исторіи, по мнѣнію Вундта. И это отсутствіе исторіи онъ понимаетъ, повидимому, въ томъ смыслѣ, что въ до-историческій періодъ языкъ живетъ особою жизнью, его развитіе идетъ инымъ путемъ. Мы видѣли уже, что Вундтъ у первобытныхъ народовъ (Naturvölker) находитъ господство „инстинктивной жизни“, которая подчиняется законамъ, дѣйствующимъ почти такъ же, какъ законы природы. Эта мысль и служитъ необходимою предпосылкою для того, чтобы къ фактамъ жизни первобытныхъ народовъ примѣнять иной методъ изслѣдованія: здѣсь уже нѣтъ мѣста историку, это — область особенно удобная для психолога. Такъ же относится Вундтъ и къ до-историческому періоду языковъ, исторически засвидѣтельствованныхъ.

Дельбрюкъ не раздѣляетъ этой точки зрѣнія. По его мнѣнію, область языковъ первобытныхъ народовъ особенно удобна для произвольныхъ и ненадежныхъ выводовъ, не болѣе. Вундтъ совершенно откровенно признается, что не можетъ понять этого скептического отношенія. Ему до такой степени чужда историческая точка зрѣнія, что онъ для объясненія скепсиса Дельбрюка строить цѣлую гипотезу. „Но какъ же, — спрашиваетъ Вундтъ самого себя, — приходитъ Дельбрюкъ къ этой пренебрежительной оцѣнкѣ матеріала, доставляемаго неродственными языками? И какъ можетъ онъ далѣе игнорировать все то, что выводится изъ этого матеріала относительно психологической стороны такихъ языковыхъ явленій, какъ падежныя и глагольныя формы и синтактическія отношенія, какъ будто всѣ эти вещи основаны на ненадежныхъ извѣстіяхъ невѣжественныхъ миссіонеровъ?“ И Вундтъ отвѣчаетъ на эти вопросы въ томъ смыслѣ, что въ представителяхъ индо-европейскаго языкознанія, развившагося изъ классической

филологіи, продолжаетъ по традиціи жить гордое, презрительное отношеніе къ чуждымъ областямъ знанія, унаслѣдованное отъ классической филологіи, которая признавала себя единственнымъ источникомъ гуманистическаго знанія. „Это — такія настроенія пристрастія, отъ которыхъ отдѣльныя лица съ трудомъ могутъ освободиться“. И лишь эта точка зрѣнія заставляетъ Вундта снисходительно отнестись къ слабости Дельбрюка и съ признательностью принять даже и то, что онъ „не отказался войти въ подробный разборъ направленій современной психологіи языка“ (Sprachgesch. u. Sprachpsych. 32—35).

Едва ли возможно придумать болѣе невѣроятную гипотезу для объясненія скептическаго настроенія Дельбрюка. Мы видимъ только, что и здѣсь Вундтъ старается объяснить явленіе психологически, гордостью и презрѣніемъ, между тѣмъ какъ Дельбрюкъ совершенно ясно указалъ мотивы своего недовѣрія. Указывая на то, что въ трудѣ Вундта нерѣдко привлекаются къ сравненію и языки т. наз. первобытныхъ народовъ, Дельбрюкъ говоритъ слѣдующее: „Тотъ, кто пишетъ о человѣческомъ языкѣ, долженъ былъ бы собственно знать всѣ языки, или, такъ какъ это невозможно, ему слѣдовало-бы принять во вниманіе по крайней мѣрѣ главные типы языковъ и между ними прежде всего самые первоначальные. Но къ сожалѣнію осуществленіе такого плана встрѣчаетъ препятствія, которыя трудно преодолѣть. Прежде всего мы рѣдко имѣемъ возможность точно изучить такіе языки, или, точнѣе говоря, научиться говорить на нихъ. Въ этомъ случаѣ мы болѣе, чѣмъ когда-либо находимся въ полной власти нашихъ источниковъ, и при томъ не только относительно матеріала, но до извѣстной степени также и относительно его пониманія. Большинство изложеній грамматики содержатъ извѣстныя теоріи, напр. относительно образованія падежей, глагольныхъ формъ и т. д. Должны-ли мы вѣрить этимъ теоріямъ, или, быть можетъ, мы имѣемъ основаніе относиться къ нимъ такъ же скептически, какъ въ новѣйшее время стали относиться къ Бопповой теоріи агглютинаціи? Объ этомъ мы часто не можемъ судить, такъ какъ мы по

большей части не знаемъ исторіи этихъ языковъ и потому легко подвергаемъ опасности принять за первоначальное то, что является результатомъ долгаго, но неизвѣстнаго намъ развитія“ (Delbr. 44 и дал.). Далѣе Дельбрюкъ указываетъ, что сравненіе между собою неродственныхъ языковъ имѣеть совершенно другое значеніе, нежели сравненіе индо-европейскихъ. Въ первомъ случаѣ нѣтъ возможности сравнивать отдѣльныя слова, возможно только сравненіе общаго грамматическаго строя. А возстановленіе такого общаго строя языка слишкомъ произвольно и зависитъ отъ нашихъ теоретическихъ воззрѣній на языкъ. Извѣстно, что та классификація языка, которая располагала языки по ступенямъ ихъ развитія, въ настоящее время уже во многихъ частяхъ отвергнута. Это показываетъ, насколько произвольны наши заключенія объ эволюціи языковъ въ тѣхъ случаяхъ, когда мы не имѣемъ достовѣрныхъ историческихъ данныхъ. И заключаетъ Дельбрюкъ свои сомнѣнія противъ такого метода изслѣдованія слѣдующими словами: „Возможно, что представленное здѣсь скептическое настроеніе не вполне законно и что оно отчасти, быть можетъ, должно быть объяснено моимъ незнакомствомъ съ языками первобытныхъ народовъ. Во всякомъ случаѣ послѣ вышеизложенныхъ соображеній будетъ совершенно понятно, что я въ дальнѣйшемъ возможно рѣже буду вступать въ такую сомнительную область“ (тамъ же, 48).

Гдѣ тутъ гордость и презрительное отношеніе, которые отыскиваетъ Вундтъ? Напротивъ, здѣсь выставляется требованіе, чтобы и къ языкамъ первобытныхъ народовъ прилагались тѣ же строгіе методы изслѣдованія, которые выработались въ области сравнительной грамматики индо-европейскихъ языковъ. Нельзя же думать, что эта строгость является результатомъ пристрастія и презрѣнія. Наука не допускаетъ послабленій и не можетъ признать нѣкоторые объекты своего изслѣдованія заслуживающими снисхожденія. Мнѣ кажется, что скорѣе Вундтъ относится къ объекту своего изслѣдованія съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ, противопоставляя историческимъ народамъ народы первобытные (Naturvölker). Дельбрюкъ и въ этомъ

отношеніи приравниваетъ ихъ народамъ, имѣющимъ исторію, раздѣляя всѣ народы на двѣ группы: одни съ извѣстной намъ исторіей, а другіе — съ неизвѣстной. Разница, слѣдовательно, заключается въ количествѣ и качествѣ нашихъ знаній, а не въ самомъ объектѣ изслѣдованія.

Защищая Дельбрюка въ этомъ вопросѣ, мы не имѣли, конечно, въ виду защищать его лично: въ этой защитѣ онъ не нуждается. Мы защищали историческую точку зрѣнія на явленія языка, которая подсказала Дельбрюку его скептическія возраженія противъ методовъ Вундта. Но намъ кажется, что Дельбрюкъ все-таки еще недостаточно сильно возсталъ противъ Вундтовскаго пониманія исторіи языка и ея отношенія къ психологіи. Дѣло въ томъ, что Дельбрюкъ самъ близко подходитъ по своимъ взглядамъ къ Вундту, именно въ нѣкоторыхъ общихъ вопросахъ. Дельбрюкъ — историкъ въ своихъ синтактическихъ изслѣдованіяхъ, но онъ — философъ въ своихъ общихъ воззрѣніяхъ на языкъ. Эта философская жилка сказывается особенно ясно въ тѣхъ частяхъ работъ Дельбрюка, гдѣ онъ даетъ опредѣленія различныхъ языковыхъ явленій или ихъ классификацію. Руководясь въ общемъ тѣми историческими перспективами, которыя добыты строго-научною обработкой матеріала, онъ охотно пускается въ область дефиницій тамъ, гдѣ дѣло касается болѣе общихъ вопросовъ. Они интересовали Дельбрюка всегда, и взгляды его мѣнялись именно въ томъ направленіи, что его философія языка становилась все болѣе и болѣе историческою, эволюціонною. Онъ ясно понималъ, что, напр., устанавливаемые первоначальныя значенія падежей представляютъ скорѣе наше собственное измышленіе, нежели дѣйствительность, такъ какъ обыкновенно въ первоначальное значеніе падежа вкладывается вся, нерѣдко богато развившаяся система исторически засвидѣтельствованныхъ отдѣльныхъ значеній, или, какъ говоритъ Дельбрюкъ, „типовъ его употребленія“. Эти типы употребленія являются болѣею реальностью, нежели первоначальное значеніе падежа, которое выражаетъ въ сущности не что иное, какъ нашу попытку классифицировать всѣ его значенія съ одной

точки зрѣнія. Въ своемъ „Сравнительномъ синтаксисѣ“ (I, 185) Дельбрюкъ самъ указываетъ, что онъ освободился отъ локалистической теоріи падежей, къ которой раньше былъ склоненъ, и это освобожденіе совершилось подъ влияніемъ историческихъ излѣдованій того, что дано памятниками языка. Однако тѣ уголки науки, куда не попадаетъ свѣтъ историческихъ данныхъ, по необходимости должны освѣщаться лишь отраженнымъ свѣтомъ теорій и гипотезъ, прогрессъ которыхъ находится въ прямой зависимости отъ степени разработки наблюдаемыхъ явленій. Такимъ образомъ область общихъ воззрѣній въ наукѣ всегда должна быть наиболѣе отсталой. Нерѣдко бываетъ такъ, что при наличности достаточнаго матеріала, опровергающаго старое воззрѣніе, оно все же продолжаетъ жить, какъ удобная оболочка для общаго свода нашихъ знаній. Поэтому критическій пересмотръ общихъ положеній науки безусловно полезенъ, и мы могли бы ожидать отъ Вундта исправленія и углубленія нашихъ взглядовъ на многіе грамматическіе вопросы; но ему, на нашъ взглядъ, препятствовало особенно то обстоятельство, что историческая точка зрѣнія осталась ему чужда. Въ нѣкоторыхъ вопросахъ общаго характера и Дельбрюкъ, какъ мы сказали, руководится въ большей степени своими теоретическими взглядами, еще не вполне согласованными съ исторически-эволюціонной точкой зрѣнія. Вотъ почему, по нашему мнѣнію, Дельбрюкъ недостаточно сильно противопоставилъ историческую точку зрѣнія Вундтовой психологіи языка.

Чтобы не быть голословными, мы остановимся на разборѣ взглядовъ Вундта на грамматическія категоріи. Это центральный вопросъ языкознанія, и на немъ лучше всего испробовать степень пригодности новыхъ воззрѣній. О процессѣ возникновенія и развитія грамматическихъ категорій вообще Вундтъ говоритъ очень мало. Говоря о „формахъ слова“ (это почти то-же, что грамматическія категоріи), онъ старается прежде всего установить „понятіе и классификацію формъ слова“, слѣдовательно и тутъ онъ идетъ не историческимъ, а умозрительнымъ путемъ. Ка-

саясь вопроса о происхожденіи формъ слова, Вундтъ указываетъ прежде всего на то, что возникновеніе новыхъ формъ мы можемъ наблюдать исторически лишь въ очень ограниченныхъ размѣрахъ. „Вопросъ же о томъ, какъ и при какихъ условіяхъ возникла опредѣленная категорія словъ, имя, глаголъ или частица, и при какихъ дальнѣйшихъ условіяхъ она развилась въ различныя модификаціи, въ силу которыхъ она становится способною выражать отдѣльныя второстепенныя формы тѣхъ же понятій, этотъ вопросъ неизбежно приводитъ къ проблемѣ *первоначального словообразованія*“. Рѣшеніе этой „доисторической проблемы“, конечно, должно быть сомнительно, какъ рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, связанныхъ съ первоначальной исторіей языка. „Тѣмъ болѣе необходимо, чтобы и здѣсь психологическое разсмотрѣніе языка вступило на такой путь, гдѣ оно возможно болѣе было бы ограждено отъ опасности основывать свои заключенія на предположеніяхъ, которыя оказываются въ области лингвистическихъ изслѣдованій еще нерѣшенными или спорными. Такой именно путь открывается намъ тамъ, гдѣ покидаютъ насъ достовѣрныя свидѣтельства исторіи языка, и этотъ путь состоитъ въ наблюденіи различныхъ формъ и ступеней развитія, на которыхъ мы застаемъ образование категорій словъ въ существующихъ въ настоящее время языкахъ первобытныхъ и малокультурныхъ народовъ“ (II, 5). Въ этихъ словахъ мы видимъ тотъ же Вундтовскій принципъ; чисто психологическое рѣшеніе наиболѣе трудныхъ вопросовъ развитія языка, при чемъ, обходя историческое языкознаніе, онъ видитъ въ этомъ даже „огражденіе отъ опасности“ опираться на недостовѣрныя положенія языкознанія. Вундтъ не замѣчаетъ, что въ „различныхъ ступеняхъ развитія“ грамматическихъ категорій въ языкахъ первобытныхъ народовъ онъ имѣетъ еще менѣе надежную опору, такъ какъ эти различныя ступени развитія устанавливаются произвольно, чисто умозрительнымъ путемъ.

Охарактеризовавъ такимъ образомъ свой методъ, Вундтъ переходитъ къ „обзору формъ слова“ и, ссылаясь на свое опредѣленіе формы слова въ зависимости отъ

функції его въ предложеніи, устанавлювае, „что классы всеобщихъ формъ слова должны непосредственно совпадать съ тѣми всеобщими формами понятій, которыя, какъ мы видѣли уже на примѣрѣ языка жестовъ, лежатъ въ основѣ всякаго рода выраженія мыслей. Это прежде всего тѣ три категоріи понятій: *предметъ, свойство и состояніе*, по которымъ могутъ быть распредѣлены также и формы словъ любого языка и внѣ которыхъ ни въ одномъ языкѣ не можетъ существовать никакихъ другихъ основныхъ формъ, служащихъ носителями опредѣленныхъ понятій“ (II, 6). Кромѣ этихъ основныхъ категорій, существуютъ еще „отношенія понятій, обусловленныя принадлежностью слова къ предложенію“. Эти отношенія выражаются отчасти особыми формами слова въ предложеніи, отчасти, наконецъ, самостоятельными словами. Такимъ образомъ получается всего четыре категоріи понятій: три основныя категоріи, упомянутыя выше, и еще „понятія отношенія“. Этимъ четыремъ категоріямъ понятій послѣдовательно соотвѣтствуютъ слѣдующія четыре категоріи формъ словъ: существительное, прилагательное, глаголь и частица (II, 7).

Мы видимъ изъ этого, что Вундтъ въ основу грамматическихъ категорій кладетъ понятія, т. е. категоріи логическія. Эти воззрѣнія языкознаніемъ уже давно отвергнуты, и, если Вундтъ находитъ необходимымъ снова вернуться къ нимъ, то для этого нужны, очевидно, весьма серьезныя причины. Вундтъ знаетъ, что вводя снова логику въ грамматику, онъ идетъ противъ современнаго научнаго теченія въ языкознаніи. Къ сожалѣнію, подробнаго обоснованія этого возвращенія къ отвергнутой старинѣ мы въ книгѣ Вундта не находимъ, и потому намъ придется обратиться къ тѣмъ немногимъ замѣчаніямъ, которыя намъ удалось отмѣтить. Замѣчательно то, что и въ указателѣ къ своей книгѣ Вундтъ не отмѣтилъ своего отношенія къ логикѣ въ грамматическихъ вопросахъ, между тѣмъ какъ этотъ вопросъ попутно имъ затрогивается не разъ. А вопросъ этотъ безусловно капитальной важности.

Съ наибольшею полнотою выразилъ Вундтъ свои мысли по этому вопросу, разбирая прежнія опредѣленія предло-

женія и устанавливая свое, новое. На этой части работы Вундта слѣдуетъ остановиться не только потому, что именно здѣсь онъ нашелъ необходимымъ ввести снова логику въ грамматическіе вопросы, но также и потому, что эта часть, по нашему мнѣнію, одна изъ самыхъ лучшихъ, какъ по глубинѣ психологическаго анализа, такъ и по важности выводовъ для языкознанія. Конечно, мы можемъ отмѣтить ходъ мыслей Вундта лишь въ самыхъ общихъ чертахъ. Разсматривая различныя опредѣленія предложенія, начиная съ самыхъ древнихъ временъ, съ Діонисія Θракійскаго (II в. до Р. X.), Вундтъ видитъ въ нихъ два направленія: одно старалось опредѣлить предложеніе съ грамматической точки зрѣнія, другое — съ логической. Первое опредѣляетъ предложеніе какъ „соединеніе словъ, выражающее одну цѣльную мысль“, второе — какъ „языковое выраженіе мысли“. Ни то, ни другое опредѣленіе не удовлетворяетъ Вундта. Первое неудовлетворительно потому уже, что есть такія соединенія словъ, которыя никоимъ образомъ не могутъ быть признаны предложеніями (напр. перечисленіе знаковъ зодіака). Второе „сваливаетъ трудъ опредѣленія понятія съ себя, чтобы взвалить его на логику“ (II, 224 и д.). Вопросъ сводится къ тому, что слѣдуетъ разумѣть подъ понятіемъ „мысли“. Логическое направленіе грамматики отождествило въ данномъ случаѣ „мысль“ съ сужденіемъ, и это обстоятельство широко открыло двери логическимъ толкованіямъ грамматическихъ явленій. „Что такое толкованіе насилуетъ языкъ, односторонне ставя его въ подчиненное положеніе по отношенію къ логическому мышленію и даже отчасти къ случайной исторической формѣ, какую оно приняло въ традиціонной логикѣ, это общеизвѣстно и въ настоящее время всѣми признано“ (II, стр. 225). Никакія поправки логическаго опредѣленія предложенія не могли спасти его отъ этой коренной ошибки. Съ возникновеніемъ психологическаго направленія въ языкознаніи на смѣну логическихъ опредѣленій предложенія появляются психологическія, которыя критеріемъ предложенія признаютъ не его форму, а извѣстныя психическія движенія. Съ такой психологической точки зрѣнія предложеніемъ

можетъ быть даже междометіе, если только въ психикѣ произносящаго его совершается соединеніе нѣсколькихъ представленій. Вундтъ не удовлетворенъ и этимъ опредѣленіемъ. „Въ вопросѣ о сущности предложенія, — совершенно справедливо замѣчаетъ онъ, — дѣло можетъ идти только о языковой природѣ его. Я могу или громко произносить предложеніе, или думать его безъ произнесенія звуковъ: но я всегда долженъ говорить или думать словами. Не существуетъ предложенія, которое бы состояло только изъ представленій безъ перевода этихъ представленій на какіе-либо языковые знаки. Поэтому, если желаютъ опредѣлить, что такое предложеніе звуковой рѣчи, то это опредѣленіе возможно установить только на основаніи того, что дѣйствительно говорится, а не на основаніи того, что при этомъ, быть можетъ, думается, и не на основаніи также того, что по логическимъ соображеніямъ можетъ быть дополнительно вложено въ произнесенныя слова“ (II, 230). Разсматривая далѣе различныя сочетанія словъ, которыя носили названіе предложенія, Вундтъ находитъ, что не всѣ изъ нихъ съ полнымъ правомъ могутъ носить это названіе. Дѣло въ томъ, что нѣкоторыя доли предложенія, до одного слова включительно, и даже междометія могутъ въ связи рѣчи замѣнять цѣлое предложеніе, являться его символомъ. Но, конечно, было бы неправильно принимать эти обрывки предложенія, или искаженныя предложенія, за предложенія въ полномъ смыслѣ слова. Такими эквивалентами предложенія могутъ являться въ рѣчи даже жесты. „Никто не станетъ называть словомъ какой-либо эквивалентъ слова, напр. указательный жестъ, такъ какъ въ данномъ случаѣ этотъ эквивалентъ лежитъ внѣ области языка. Въ эквивалентѣ же предложенія изслѣдователи склонны видѣть предложеніе, такъ какъ одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ эквивалентовъ предложенія является отдѣльное слово. То обстоятельство, что слово и предложеніе оба суть формы языкового выраженія, нисколько не даетъ намъ права отождествлять ихъ обоихъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда слово является эквивалентомъ предложенія“ (II, 234).

Указавъ такимъ образомъ на коренной недостатокъ

психологическаго опредѣленія предложенія, на смѣшеніе самыхъ психическихъ актовъ съ ихъ звуковымъ, словеснымъ обозначеніемъ, Вундтъ переходитъ къ построенію собственнаго опредѣленія предложенія съ психологической точки зрѣнія. Прежде всего онъ указываетъ, что ошибка всѣхъ прежнихъ опредѣленій заключается уже въ томъ, въ чемъ всѣ ученые были до сихъ поръ согласны, а именно, будто предложеніе есть *соединеніе* какихъ-бы то ни было элементовъ. На ошибочность такого пониманія предложенія указываютъ уже явленія уподобленія словъ въ предложеніи, при чемъ нерѣдко послѣдующее слово оказываетъ вліяніе на предыдущее. Очевидно, что во время произнесенія одного слова въ сознаніи уже существуютъ хотя и не столь ясныя представленія слѣдующихъ словъ, входящихъ въ предложеніе. Отсюда видно, что предложеніе, какъ цѣлое, существуетъ во все время, пока оно произносится. Поэтому Вундтъ видитъ въ предложеніи не соединеніе, а наоборотъ „разложеніе существующаго въ сознаніи цѣлаго на составныя части“ (II, 236). Этотъ аналитическій процессъ идетъ параллельно процессу синтетическому, такъ какъ „въ тотъ же самый моментъ, когда отдѣльныя части выдѣляются изъ цѣлаго, онѣ ставятся другъ къ другу въ опредѣленные отношенія“ . . . „Эти отношенія сами мѣняются въ различныхъ случаяхъ. Они зависятъ отъ специфическаго содержанія какъ отдѣльныхъ представленій, такъ и цѣлаго представленія. Однако существуютъ извѣстныя общія понятія (Classenbegriffe), подъ которыя мы можемъ ихъ подвести; а именно таковыми оказываются тѣ же самыя понятія, которыя имѣютъ рѣшающее значеніе для различенія всеобщихъ классовъ словъ, — результатъ необходимый и совершенно понятный, такъ какъ предложеніе, а не слово является въ языкѣ первоначальнымъ, а потому и формы словъ представляютъ результатъ тѣхъ отношеній частей, которыя выясняются въ процессѣ расчлененія цѣлаго представленія“ (II, 237). Мы уже встрѣчались раньше съ тремя „основными категоріями“ Вундта: это — понятія: предмета, свойства и состоянія. „Эти формы понятій возникли вполнѣ въ соотношеніи другъ съ

другомъ и при томъ такъ, что первый классъ, классъ понятій предметовъ, можетъ вступать въ двоякія отношенія: во-первыхъ въ отношенія къ понятіямъ свойства, и во-вторыхъ въ отношенія къ понятіямъ состоянія. Первые представляютъ исходную точку образования *атттрибутивныхъ* отношеній въ предложеніи, послѣднія — *предикативныхъ*. Рядомъ съ ними такъ называемыя *понятія отношеній* имѣютъ лишь дополнительное значеніе. Они возникаютъ тогда, когда оказывается необходимымъ точнѣе опредѣлить извѣстные виды атрибутивнаго или предикативнаго отношенія и выразить ихъ въ языкѣ. Всѣ вытекающія такимъ образомъ изъ расчлененія предложенія аналитическія отношенія мы называемъ однимъ объединяющимъ выраженіемъ: *логическія* отношенія, чтобы отличить ихъ отъ другихъ соединеній (*Verbindungen*), которыя вытекаютъ изъ какихъ-либо мотивовъ ассоціацій, чуждыхъ собственно языковому мышленію (*dem sprachlichen Denken an sich*). Выраженіе „логическій“ не должно при этомъ вызывать такого представленія, какъ будто здѣсь идетъ рѣчь объ отношеніяхъ, выходящихъ за границы психологическихъ законовъ развитія мышленія. Естественно, все содержаніе формъ и нормъ мысли (*der Denkformen und Denknormen*), которыми занимается логика, должно быть представляемо психологически. Оно представляется намъ прежде всего какъ психологически данное и оно отдается психологіей на судъ логики лишь въ томъ смыслѣ, что послѣдняя оцѣниваетъ реальное достоинство психологическаго познанія (эта оцѣнка важна въ особенности для научныхъ приложений мышленія) и сводитъ его къ своимъ нормамъ всеобщаго значенія. Это приводитъ не только къ тому, что у разсмотрѣнія логическихъ явленій въ области психологіи отнимается многое или даже большая часть, т. е. то, что составляетъ специальную задачу логики, но и къ тому, что и психологія образованія предложенія должна занимать важными видами явленій и выраженій логическихъ отношеній, лежащихъ совершенно внѣ логики<sup>1)</sup>. Это ска-

1) Это темное въ русскомъ переводѣ предложеніе, не менѣе

зывается прежде всего въ томъ, что изъ встрѣчающихся въ языкѣ и въ мышленіи формъ предложеній логика разсматриваетъ только одну, а именно изъяснительное предложеніе (Aussagesatz), между тѣмъ какъ остальные формы предложеній, выражающія чувство, желаніе, вопросъ не менѣе важны для психологіи мысли и языка. Но и эти предложенія содержатъ тѣ всеобщія атрибутивныя и предикативныя соединенія, которыя съ одной стороны являются характерными формами выраженія логическихъ отношеній, и въ которыхъ съ другой стороны выражается аналитическая функція расчлененія цѣлаго сложнаго представленія. Этимъ отличаются такія внѣ логики стоящія предложенія точно также, какъ и логическія сужденія (die logischen Aussagen) отъ иныхъ соединеній нашихъ представленій“ (II, 237—238). Указавъ далѣе на элементъ произвольности въ созданіи предложія, Вундъ окончательно приходитъ къ такому опредѣленію предложенія: предложеніе есть „языковое выраженіе произвольнаго расчлененія цѣлаго сложнаго представленія на составныя части, поставленныя въ логическія отношенія другъ къ другу“ (II 240).

Въ другомъ мѣстѣ, полемизируя противъ крайностей психологическаго опредѣленія подлежащаго и сказуемаго, Вундъ говоритъ: „Въ противность этому прежде всего надо обратить вниманіе на то, что субъектъ и предикатъ сами по себѣ суть понятія *логическія*, слѣдовательно первоначально вовсе не грамматическія, и еще того менѣе — психологическія. Поэтому, конечно, лучше всего не переносить ихъ изъ свойственной имъ области въ какую-либо другую, пока къ этому не оказывается достаточно вѣскихъ основаній, лежащихъ въ родствѣ понятій. И въ самомъ дѣлѣ, это-то соображеніе и руководило тѣми, которые

---

темно и въ оригиналѣ. Привожу его дословно: Das bringt mit sich, dass der Betrachtung der logischen Vorgänge innerhalb der Psychologie nicht nur vieles, ja das meiste entzogen bleibt, was die specielle Aufgabe der Logik ausmacht, sondern dass sich auch die Psychologie der Satzbildung mit wichtigen Erscheinungs- und Ausdrucksweisen logischer Beziehungen beschäftigen muss, die ganz ausserhalb der Logik liegen.

иногда, и не безъ основанія, затруднялись приравнять другъ другу грамматическій и логическій предикатъ. Однако такія сомнѣнія едва-ли могутъ быть оправданы по отношенію къ *изъянительному предложенію* (Aussagesatz), которымъ мы въ этомъ вопросѣ прежде всего должны ограничиться, такъ какъ оно является единственнымъ мѣстомъ возникновенія упомянутыхъ логическихъ категорій понятій. Если утверждаютъ, что въ двухъ предложеніяхъ *Цезарь перешелъ Рубиконъ* и *Рубиконъ былъ перейденъ Цезаремъ* логическій субъектъ тотъ-же самый, между тѣмъ какъ грамматическій мѣняется; то при этомъ, несомнѣнно упускается изъ виду субъектъ въ Аристотелевскомъ смыслѣ, какъ то, что лежитъ въ основаніи сужденія (der Aussage), и онъ понимается уже съ психологической точки зрѣнія, а именно съ той, что субъектъ долженъ быть дѣйствующимъ. Дѣйствующимъ лицомъ, естественно, въ обоихъ случаяхъ является Цезарь. Но *основою* (Grundlage) сужденія онъ является только въ первомъ предложеніи, а отнюдь не во второмъ. Первое предложеніе содержитъ сужденіе о Цезарѣ, а второе — о Рубиконѣ. Это — существенное логическое различіе, имѣющее свое основаніе въ связи мыслей всякой рѣчи, если только вообще различія формы предложеній избираются по достаточнымъ логическимъ мотивамъ; а это, конечно, необходимо предполагать постоянно въ тѣхъ случаяхъ, когда желательно опредѣлить формальныя значенія этихъ формъ предложеній. Но въ такомъ случаѣ и въ изъянительномъ предложеніи логическій и грамматическій субъектъ, логическій и грамматическій предикатъ всегда совпадаютъ. Между разнообразными мотивами, вліяющими на строй предложенія, для этой одной стороны его, т. е. для выраженія его главныхъ частей особыми формами словъ, рѣшающими были очевидно *логическіе* мотивы. Грамматическій субъектъ предложенія является всегда въ логическомъ смыслѣ „основою сужденія“; и если говорящій грамматически изберетъ иной субъектъ, нежели тотъ, который онъ могъ-бы сдѣлать субъектомъ логически, то онъ придастъ своей мысли несоотвѣтствующую форму, при чемъ однако такія отклоненія иногда

могутъ быть оправданы вліяніемъ другихъ мотивовъ, помимо чисто логическихъ, какъ напр. вліяніемъ благозвучія и ритма рѣчи“ (II, 260—261).

Въ предшествующемъ изложеніи взглядовъ Вундта я старался шагъ за шагомъ слѣдовать за его изложеніемъ и не скупился на цитаты, чтобы читатель могъ самъ судить о томъ, насколько послѣдователенъ Вундтъ въ своихъ выводахъ. На нашъ взглядъ, критическая часть его воззрѣній — превосходна, но выводы находятся въ противорѣчій съ нею. Мы постараемся отмѣтить эти противорѣчія и показать, къ какимъ выводамъ должны были бы привести признаваемые и Вундтомъ принципы.

Вундтъ согласенъ съ общепризнаннымъ положеніемъ, что логическое толкованіе грамматическихъ явленій „насилуетъ языкъ“, но въ то же время самъ кладетъ въ основу „формъ слова“ логическія отношенія и признаетъ, что въ выработкѣ формъ выраженія „главныхъ частей“ предложенія, субъекта и предиката, „рѣшающими были логическіе мотивы“. Онъ, повидимому, чувствуетъ, что эти его взгляды противорѣчатъ выставленнымъ имъ же самимъ принципамъ и старается сгладить это противорѣчіе оговоркою относительно того, какъ нужно понимать терминъ „логическій“ въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ его здѣсь употребляетъ. Оговорка эта крайне темна. Видно только одно, что терминъ „логическій“ не исключаетъ и психологическаго содержанія. Но какъ-бы то ни было, тѣ логическія отношенія, которыя являются первоначально въ изъяснительныхъ предложеніяхъ (сужденіяхъ), подлежащихъ логическому анализу, оказываются перенесенными и на такія предложенія, которыя въ вѣдѣній логики не состоятъ, на предложенія, выражающія чувство, желаніе, вопросъ. Согласно съ этимъ взглядомъ Вундтъ находитъ полное соотвѣтствіе и между логическимъ и грамматическимъ субъектомъ и предикатомъ. Логическія объясненія грамматическихъ явленій насилуютъ языкъ, но логика все-таки лежитъ въ основѣ многихъ грамматическихъ явленій: значитъ, эти грамматическія явленія требуютъ логическаго объясненія. Повидимому Вундтъ предполагаетъ, что пред-

ложение и его главные части первоначально выработались въ предложениі-сужденіи и потомъ уже распространились на инья предложенія; но это не доказывается ничѣмъ, кромѣ совпаденія логическаго и грамматическаго подлежащаго и сказуемаго въ изъяснительныхъ предложеніяхъ. Однако и это совпаденіе, на нашъ взглядъ, вовсе не доказано. Одного примѣра, на которомъ строить Вундтъ свое доказательство, конечно, слишкомъ мало, и можно привести очень много предложеній, не поддающихся такому толкованію. Вундтъ признаетъ, что практически можно встрѣтить такіе случаи, когда грамматическое подлежащее не совпадаетъ съ логическимъ, но въ такихъ случаяхъ говорящій, по его мнѣнію, облакаетъ свою мысль въ неподходящую форму, и такія уклоненія „могутъ быть оправданы“ какими-либо иными мотивами, но отнюдь не логическими. Современный языковѣдъ, конечно, и не станетъ искать въ логикѣ оправданія такимъ случаямъ, такъ какъ онъ знаетъ, что логическіе мотивы могутъ встрѣчаться въ рѣчи только какъ исключеніе, напр. въ логическихъ трактатахъ, а въ обыкновенной рѣчи мы имѣемъ дѣло съ психологическими вліяніями. И нужно быть слишкомъ педантично проникнутымъ логическими законами, чтобы найти неподходящую форму въ такихъ предложеніяхъ напр., какъ „въ пещерѣ темно“ или „топоромъ рубятъ“. Конечно, мы можемъ ту-же мысль выразить въ такой формѣ, чтобы логическій и грамматическій субъектъ совпали, напр. „пещера есть темное помѣщеніе“ или „топоръ есть орудіе для рубки“; но всякій безпристрастный человѣкъ, по нашему мнѣнію, долженъ отдать предпочтеніе первой парѣ предложеній уже по одному тому, что оба послѣднія предложенія отличаются искусственностью формы, и въ обыкновенной рѣчи можно встрѣтить только первую двѣ формы. Для языковѣда критеріемъ должно служить именно употребленіе формы предложенія, а не логически построенный идеаль формы, къ которой якобы долженъ стремиться говорящій. Однимъ словомъ, критикуя Вундта, мы можемъ примѣнить къ нему его же собственныя слова: „опредѣленіе (предложенія) возможно

только на основаніи того, что дѣйствительно говорится, а не на основаніи того, что при этомъ, быть можетъ, думается, и не на основаніи также того, что по логическимъ соображеніямъ можетъ быть дополнительно вложено въ произнесенныя слова“ (см. выше, стр. 235).

Въ основѣ „формъ слова“ по Вундту лежатъ также логическія категоріи, понятія предмета, свойства и состоянія. Но и тутъ дѣло не идетъ совсѣмъ гладко, такъ какъ рядомъ съ этими категоріями приходится признать еще и „отношенія понятій, обусловленныя принадлежностью слова къ предложенію“ съ соотвѣтствующею грамматическою категоріею частицъ. Такимъ образомъ получаютъ четыре разряда формъ слова: существительное, прилагательное, глаголь и частица. Въ основѣ первыхъ трехъ категорій лежатъ логическія понятія, въ основѣ же четвертой категоріи лежатъ чисто грамматическія отношенія. Кромѣ того и въ первыхъ трехъ категоріяхъ грамматическія отношенія входятъ, какъ ихъ составныя части (напр. падежи: см. II, 6). И здѣсь, такимъ образомъ, Вундтъ не можетъ послѣдовательно провести логическаго толкованія, но отводитъ ему лишь нѣкоторую сферу, которая однако точнѣе не ограничивается.

Я не стану опровергать взгляды Вундта въ подробностяхъ, доказывая, напр., что существительное нельзя опредѣлять, какъ имя предмета, прилагательное, какъ имя качества и т. д.: эта работа уже сдѣлана раньше другими (см. напр. Потенія, „Изъ записокъ по русской грамматикѣ“, I). Для меня важнѣе всего выяснить, почему, даже сознательно отвергая логическія толкованія грамматическихъ явленій, такъ легко опять возвратиться къ старинѣ и снова отождествлять логическія категоріи съ грамматическими. Если даже Вундтъ не можетъ устоять противъ такого соблазна, то, значитъ, въ логическомъ толкованіи есть что-то похожее на истину, или, можетъ быть, нѣкоторая доля истины. Желая выяснить по мѣрѣ силъ этотъ вопросъ, я прежде всего долженъ обратить вниманіе на то обстоятельство, что при оцѣнкѣ логическаго толкованія грамматическихъ явленій невозможно допускать

частичную только приложимость его къ объясняемымъ явленіямъ: если логическая точка зрѣнія неприменима хотя-бы къ нѣкоторымъ грамматическимъ явленіямъ, значитъ, она, какъ принципъ, неправильна; значитъ, и тѣ логическія объясненія, которыя до сихъ поръ намъ казались правильными, ложны въ своей основѣ. Если логическое толкованіе приложимо только къ части грамматическихъ явленій, значитъ, другая часть грамматическихъ явленій не имѣетъ подъ собою логической основы, а потому логическое толкованіе оказывается слишкомъ узкимъ. Можно было-бы, соглашаясь съ этимъ, все-таки отстаивать логическій принципъ для той части грамматическихъ явленій, которая имъ удовлетворительно объясняется, напр. для субъекта и предиката, и искать иного объясненія только для другихъ грамматическихъ категорій. Но и такой дуализмъ весьма мало вѣроятенъ уже а priori, такъ какъ современное языкознаніе пришло въ настоящее время къ признанію того, что не слово, а предложеніе есть элементъ нашей рѣчи. Съ этимъ согласенъ и Вундтъ. Выдѣленіе субъекта и предиката въ предложеніи является такимъ образомъ результатомъ того-же самаго процесса расчлененія предложенія, который создаетъ и всѣ остальные грамматическія категоріи до частицъ включительно. Поэтому дуалистическое объясненіе, на нашъ взглядъ, невозможно: логическое объясненіе либо совершенно справедливо, либо совершенно ложно. Середины здѣсь быть не можетъ.

Для того, чтобы понять, въ чемъ заключается ошибка перенесенія логическихъ категорій на грамматическія, слѣдуетъ обратиться къ вопросу возникновенія различныхъ грамматическихъ категорій. Хотя по большей части вопросъ этотъ оказывается очень темнымъ, однако нѣкоторыя грамматическія категоріи совершенно ясно сохранили слѣды своего возникновенія. Таковы напр. категоріи грамматическаго рода и числа. Первая изъ нихъ носитъ ясные слѣды происхожденія изъ различенія пола, а вторая — отъ обозначенія количества. Такимъ образомъ въ основѣ грамматическаго рода лежитъ категорія биологиче-

ская, а въ основѣ числа — ариѳметическая. Въ другихъ случаяхъ было бы еще труднѣе опредѣлить, къ области какой науки относятся тѣ основныя представленія, которыя обозначаются различными грамматическими категориями. Да этими вопросами никто и не задается, такъ какъ рѣшительно всякое представленіе, достаточно широкое и общее, можетъ подать поводъ къ созданію грамматической категоріи. Такъ напр. почти на нашихъ глазахъ сложилась въ русскомъ языкѣ категорія „одушевленнаго предмета“ или „одушевленнаго рода“ въ грамматикѣ. Но для грамматиковъ это опредѣленіе источника грамматической категоріи еще не самое важное. Въ человѣческой рѣчи имѣются средства для обозначенія огромнаго, если не безконечнаго разнообразія представленій, но изъ всей этой массы обозначеній въ грамматическія категоріи превращается сравнительно небольшое число. Задача изучающаго грамматическія категоріи и заключается въ томъ, чтобы опредѣлить, чѣмъ отличается грамматическая категорія отъ другихъ языковыхъ обозначеній и какимъ образомъ происходитъ въ языкѣ ея выдѣленіе.

Если мы присмотримся къ такимъ парамъ, какъ отличіе пола и грамматическій родъ, различіе количества и грамматическое число; то намъ сейчасъ же бросится въ глаза глубокое различіе между грамматическими категориями и ихъ источниками. Насколько опредѣленны понятія пола и количества, настолько же подвижны и непостепенны значенія грамматическаго рода и числа. Грамматическія категоріи рода и числа настолько удалились отъ своего первоначальнаго источника, что лишь въ рѣдкихъ случаяхъ они дѣйствительно обозначаютъ болѣе и менѣе точно первая — полъ, а вторая — количество. Существительное мужескаго рода не должно обозначать непременно существо мужескаго пола, и множественное число нерѣдко выражаетъ нѣчто совершенно чуждое количеству (какъ напр. почтительное обращеніе „на вы“), не говоря уже о томъ, что различіе только трехъ чиселъ (единственнаго, двойственнаго и множественнаго) показываетъ уже само по себѣ, насколько бѣдно это грамматическое число сравнительно

съ числомъ арифметическимъ. Однимъ словомъ всюду, гдѣ мы встрѣчаемся съ грамматическими категоріями, мы находимъ настолько своеобразную переработку представлений, давшихъ толчекъ образованію грамматическихъ категорій, что намъ не представляется никакой возможности отождествлять эти представленія со значеніемъ грамматическихъ категорій.

Эта своеобразная подвижность грамматическихъ категорій, представляя весьма важный и существенный признакъ ихъ, не можетъ однако быть выведена изъ тѣхъ основныхъ представлений, которыя, какъ обыкновенно говорятъ, лежатъ въ основѣ грамматическихъ категорій. Объясненіе этихъ явленій мы находимъ, изучая строй предложенія. Грамматическія формы, вступая въ различныя сочетанія другъ съ другомъ въ предѣлахъ предложенія и сочетаясь въ то же время съ различными представленіями, выраженными человѣческой рѣчью, ассоціируются не только между собою, но и съ этими представленіями. Такимъ образомъ объясняется напр. возникновеніе грамматическаго рода: нѣкоторыя слова на -а обозначаютъ лицъ женскаго пола (напр. жена); представленіе пола переносится на всѣ слова на -а, безъ отношенія къ реальному значенію; въ этотъ моментъ уже возникаетъ грамматическая категорія рода; мужескій родъ возникаетъ въ противоположность женскому, сначала тоже противопоставляясь какъ обозначеніе пола, и затѣмъ приурочивается къ извѣстнымъ окончаніямъ; наконецъ, категорія средняго рода возникаетъ въ противоположность первымъ двумъ, обнимая слова, на которыя категоріи муж. и женск. рода не распространились<sup>1)</sup>. Если дѣло идетъ именно такимъ путемъ (а современные научныя изслѣдованія приводятъ къ этому выводу), то мы должны признать, что „основное представленіе“ любой грамматической категоріи является элементомъ пассивнымъ; активнымъ же творческимъ факторомъ ея

1) Подробнѣе объ этомъ см. Изв. Отд. рус. яз. и слов. И. А. Н. т. VII, 1902, кн. 4, стр. 415 и сл. (моя рецензія на „Синтаксисъ русск. яз.“ проф. Овсянико-Куликовскаго).

является грамматическій строй предложенія съ его живою сѣтью ассоціацій. Представленіе пола не само даетъ толчекъ къ образованію категоріи грамматическаго рода, а наоборотъ, оно вовлекается въ механизмъ предложенія и тотчасъ же перерабатывается въ грамматическую категорію рода, сохраняющую лишь слабое сходство съ тѣмъ матеріаломъ, изъ котораго она создалась. Такимъ же точно образомъ, насколько мы можемъ судить, создалась въ индоевропейскихъ языкахъ и грамматическая категорія времени. Первоначально время не обозначалось особыми грамматическими формами, но, конечно, представленіе времени существовало какъ въ психикѣ говорящаго, такъ и въ психикѣ слушающаго. Постоянно сопровождая глагольныя формы, оно было вовлечено въ строй рѣчи и было переработано въ грамматическую категорію времени, совершенно отличную отъ философской категоріи времени: здѣсь мы знаемъ только настоящее, прошедшее и будущее, а въ грамматикѣ различается нерѣдко два или три прошедшихъ и два будущихъ. Возникновеніе грамматической категоріи времени изъ предложенія ясно сказывается въ относительномъ значеніи временъ: прошедшаго, предшествующаго другому прошедшему (латинское *plusquamperfectum*), будущаго, предшествующаго другому будущему (лат. *futurum exactum*) и т. под. Точно также и развитіе грамматическаго рода не можетъ быть понятно безъ изслѣдованія явленій согласованія, которое возможно только внутри предложенія.

Изъ приведенныхъ соображеній можно сдѣлать тотъ выводъ, что и логическія понятія могутъ, какъ и всякія другія, быть вовлечены въ строй предложенія и переработаться тамъ въ грамматическія категоріи. Едва ли возможно сомнѣваться въ томъ, что этимъ именно путемъ логическій субъектъ и логическій предикатъ превратились внутри предложенія въ подлежащее и сказуемое. Но возникшія такимъ образомъ грамматическія категоріи въ корнѣ отличаются отъ своихъ логическихъ прототиповъ. Это различіе настолько сильно, что совпаденіе грамматическихъ и логическихъ субъектовъ и предикатовъ мы можемъ считать

явленіемъ случайнымъ. Что это дѣйствительно такъ, видно хотя-бы изъ развитія во многихъ языкахъ страдательнаго оборота, превращающаго дополненіе въ подлежащее, а подлежащее въ дополненіе: оборота, безусловно нелѣпаго съ точки зрѣнія чисто логической, какъ бы ни старался Вундтъ его оправдать именно съ этой стороны. Во всякомъ случаѣ можно смѣло сказать, что добрую половину примѣровъ такого страдательнаго оборота не смогъ бы оправдать и Вундтъ при всемъ своемъ желаніи, и долженъ былъ бы объяснить ихъ тѣмъ, что говорящій придалъ своей мысли „несоотвѣтствующую форму“ (см. стр. 235). Уже признаніе такой возможности показываетъ слабость аргументаціи Вундта.

Если такимъ образомъ грамматическое подлежащее и сказуемое, даже совпадая во многихъ случаяхъ съ логическимъ субъектомъ и предикатомъ, по существу отличны отъ нихъ, то ясно, что изученіе природы этихъ логическихъ категорій нисколько не можетъ уяснить намъ природы грамматическихъ категорій подлежащаго и сказуемаго. Не смотря на свой логическій источникъ (въ указанномъ выше смыслѣ), грамматическія категоріи эти должны быть объяснены изъ строя предложенія, т. е. опять таки изъ тѣхъ сплетеній ассоціацій, которыя мы въ немъ наблюдаемъ.

Другой выводъ, который мы можемъ сдѣлать изъ тѣхъ же наблюденій, касается роли психологіи въ объясненіи грамматическихъ явленій. Психологическія представленія, наравнѣ съ логическими, могутъ перерабатываться въ грамматическія категоріи, но изученіе психологической природы этихъ представленій не имѣетъ никакого значенія для уясненія совершенно отличныхъ отъ нихъ грамматическихъ категорій. Такъ напр. желательное наклоненіе, вѣроятно, слѣдуетъ объяснять тѣмъ, что представленіе желанія было ассоціировано съ опредѣленными глагольными формами. Но для объясненія историческихъ судебъ желательнаго наклоненія намъ вовсе не нужно знать психологической природы нашихъ желаній, намъ важно знать лишь тѣ нити ассоціацій, которыя связывали эту форму съ другими формами въ связи рѣчи. Только

этимъ путемъ мы можемъ понять, почему напр. въ греческомъ языкѣ желательное наклоненіе при извѣстныхъ условіяхъ получило способность обозначать внутреннюю зависимость дѣйствій главнаго и придаточнаго предложеній. Изъ значенія желанія такой функціи психологически никоимъ образомъ вывести нельзя.

Вотъ почему мнѣ кажется, что Дельбрюкъ совершенно правъ въ своемъ взглядѣ на психологію языка, какъ на вспомогательную науку по отношенію къ языкознанію. Языкознаніе ставитъ психологіи въ этомъ отношеніи совершенно опредѣленную задачу — изслѣдованіе сѣти ассоціацій человѣческой рѣчи. Задача эта, несомнѣнно, не малая и не легкая, но она во всякомъ случаѣ является лишь частью психологіи вообще, или вѣрнѣе богатою областью для наблюденія психологическихъ явленій. Но въ этой области, несомнѣнно, встрѣчаются психологическія явленія далеко не всякаго рода; напротивъ, мнѣ кажется, что типъ психологическихъ явленій въ языкѣ довольно однообразенъ. Разнообразіе мы наблюдаемъ здѣсь лишь въ направленіяхъ ассоціаціонныхъ связей, и въ этомъ отношеніи разнообразіе тутъ почти необозримо. Этимъ, мнѣ кажется, легче всего объяснить, почему Вундтъ такъ мало оказалъ помощи языковѣдамъ: въ объясненіи природы психологическихъ явленій языка онъ сдѣлалъ тотъ шагъ, который собирались дѣлать языковѣды; но въ лабиринтѣ языковыхъ ассоціацій они сами разбираются гораздо лучше его, и потому въ этой главной области явленій языка Вундтовы попытки объясненій едва-ли можно признать удачными.

Частичное возвращеніе Вундта къ старымъ логическимъ толкованіямъ грамматическихъ явленій, толкованіямъ, которыя онъ же самъ считаетъ насилующими языкъ, указываетъ во всякомъ случаѣ на то, что логика обладаетъ какою-то особенною притягательною силою, вовлекая въ свои сѣти даже тѣхъ языковѣдовъ, которые, повидимому, освободились отъ ея чаръ. Предыдущій разборъ, мнѣ кажется, даетъ на этотъ вопросъ вполне удовлетворительный отвѣтъ. Логическія категоріи могутъ вовлекаться

и дѣйствительно вовлекаются въ строй нашей рѣчи не только наравнѣ съ другими, но даже преимущественно передъ другими категоріями. Причина этого заключается въ томъ, что логическія категоріи это категоріи нашего мышленія, постоянно облекающіяся въ форму рѣчи. Было бы удивительно, если бы между строемъ рѣчи и логическими формами мышленія не существовало самыхъ живыхъ ассоціацій. Но это обстоятельство, конечно, нисколько не смягчаетъ разницы между категоріями логическими и грамматическими. Я уже не касаюсь здѣсь вопроса о томъ, какимъ образомъ мы должны представлять себѣ эту связь между логикой и языкомъ. Мнѣ думается, что исторически неправильно говорить о томъ, что логическія категоріи облекаются въ форму слова; скорѣе наоборотъ: логическія категоріи выдѣлились въ особую систему лишь съ теченіемъ времени изъ грамматическихъ. Поэтому мнѣ кажется, что скорѣе грамматика можетъ объяснять логику, а никакъ не обратно. Возвратъ къ логикѣ въ объясненіи грамматическихъ категорій обозначаетъ такимъ образомъ возвращеніе назадъ по крайней мѣрѣ на пятьдесятъ лѣтъ и возстановленіе тѣхъ препятствій, съ которыми грамматика за этотъ періодъ упорно и довольно успѣшно боролась<sup>1)</sup>.

1) Высказываясь въ этомъ смыслѣ о значеніи Вундтовой теоріи, я не могу не указать на совершенно противоположное воззрѣніе г. Н. Н. Соколова, выраженное имъ въ его рецензій на книгу Бѣлоруссова „Синтаксисъ русскаго языка въ изслѣдованіяхъ Потевни“ (Изв. Отд. рус. яз. и слов. И. А. Н., т. VIII, кн. 2-ая, стр. 347—366). Здѣсь дважды указывается на то, что Потевня „о психологіи Вундта не имѣлъ никакого понятія“, придерживался старой школы Гербарта и, повидимому, этимъ авторъ объясняетъ невысокое достоинство его работъ. Авторъ думаетъ, что глубина мыслей и широта замысловъ Потевни „извѣстны „профессіональнымъ ученымъ, вѣроятно, съ нехорошей стороны“, что Потевня „не былъ вовсе лингвистомъ“, что онъ „боролся съ несуществующими препятствіями“, что „у него мы не нашли-бы никакихъ слѣдовъ“ „примѣненія принципа“ аналогіи, что „нѣкоторыя апріорныя соображенія, унаслѣдованныя Потевней отъ старой школы“ мѣшали послѣдовательному проведенію психологическаго направленія въ его работахъ, и т. д. Къ сожалѣнію, г. Соколову лишь на 360 стр. „нелишнимъ кажется

Дельбрюкъ, какъ я уже замѣтилъ раньше, недостаточно энергично возстаетъ противъ взглядовъ Вундта. Онъ возражаетъ противъ его ошибокъ, но, повидимому, признаетъ справедливость принциповъ Вундта. Я уже сказалъ, что, по моему мнѣнію, это объясняется тѣмъ, что Дельбрюкъ самъ во многихъ случаяхъ покидаетъ свою историческую точку зрѣнія и дѣлается такимъ же философомъ, какъ и Вундтъ. Яснѣ всего это сказывается въ томъ, какъ Дельбрюкъ относится къ Вундтовскому опредѣленію предложія. Съ большею частью его замѣчаній онъ вполне согласенъ; онъ не рѣшается только признать тотъ выводъ, что одночленныхъ предложій существовать не можетъ, такъ какъ въ понятіе предложія, по мнѣнію Вундта, входитъ понятіе расчлененія одного цѣлаго представленія. Передъ этимъ затрудненіемъ Дельбрюкъ останавливается и ждетъ отъ будущихъ изслѣдователей рѣшенія этого вопроса въ томъ смыслѣ, слѣдуетъ-ли признать существованіе одночленныхъ предложій или, согласно съ Вундтомъ, видѣть въ нихъ лишь обломки предложій, эквиваленты предложій, но отнюдь не самыя предложія. „Полное соглашеніе, — говоритъ Дельбрюкъ, — относи-

привести примѣръ“ въ подтвержденіе своихъ мыслей. Опровергать г. Соколова я, конечно, не могу, такъ какъ онъ не доказываетъ своихъ мыслей; но считаю долгомъ сказать, что ставлю Потебню, какъ лингвиста, гораздо выше Вундта, и не только не считаю взгляды Потебни отсталыми, а напротивъ думаю, что знакомство съ его взглядами западныхъ ученыхъ и *теперь* могло бы ихъ освободить отъ многихъ ошибочныхъ воззрѣній. Я пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы отмѣтить тутъ же, что Ягичъ въ своихъ Beiträge zur slavischen Syntax (стр. 6), высказывается въ томъ же смыслѣ. Онъ называетъ изслѣдованія Потебни „das bedeutendste und tief-sinnigste, was in die slavische Syntax verschlägt“ (послѣ работъ Миклошича), удивляется, что Дельбрюкъ не знаетъ ихъ даже по имени, и въ заключеніе говоритъ о принципахъ, проведенныхъ въ изслѣдованіяхъ Потебни слѣдующимъ образомъ: „Da ich von der Richtigkeit dieser Betrachtung und der Möglichkeit grössere Resultate bei dieser Betrachtung der syntactischen Erscheinungen zu erzielen überzeugt bin, so gebe ich . . . dem System Potebnja's . . . den Vorzug“ (Denkschr. d. Wiener Ak. Bd. 46. 1900). Возражая Вундту, я исходилъ изъ того же убѣжденія.

тельно Вундтовскаго опредѣленія предложенія можетъ быть достигнуто въ томъ случаѣ, если мы рѣшимся дѣлать различіе между „высказываніемъ“ (Äusserung) и предложеніемъ (Satz), какъ это предлагаетъ Векслеръ (Wechsler E., *Giebt es Lautgesetze?* Halle, 1900, стр. 17). Тогда я призналъ бы правильнымъ понимать высказываніе въ выше приведенномъ смыслѣ [исконныхъ одночленныхъ предложеній], а предложеніе опредѣлять, какъ высказываніе, состоящее по меньшей мѣрѣ изъ двухъ частей“ (Grundfr. d. Spr. 145).

Будетъ-ли когда-нибудь достигнуто полное соглашеніе въ опредѣленіи предложенія или нѣтъ, предсказать довольно трудно. Во всякомъ случаѣ я увѣренъ, что это соглашеніе можетъ быть достигнуто только при томъ условіи, чтобы языковѣды отказались отъ своихъ намѣреній найти всеобщее опредѣленіе предложенія для всѣхъ языковъ земного шара и для всѣхъ временъ. Я въ этомъ отношеніи совершенно согласенъ съ Потемней, который говоритъ, что „исторія языка на значительномъ протяженіи времени должна давать цѣлый рядъ опредѣленій предложенія, и если бываетъ иначе, то это зависитъ лишь отъ несовершенства наблюдений“ (Изъ зап. по рус. грамм.', I, 101). И дѣйствительно, самыя простыя соображенія могутъ убѣдить насъ въ бесплодности нашихъ поисковъ всеобщаго опредѣленія предложенія. Опредѣляя предложеніе вообще, мы должны откинуть все то, что составляетъ особенности предложенія въ каждомъ отдѣльномъ языкѣ; всеобщее опредѣленіе предложенія должно быть настолько широко, чтобы въ немъ могло вмѣститься все разнообразіе языковъ земного шара. А это можетъ быть достигнуто только такимъ путемъ, что въ опредѣленіи предложенія окажутся устраненными всѣ разнообразныя формы его, какія мы наблюдаемъ въ различныхъ языкахъ. Оставшееся такимъ образомъ въ опредѣленіи предложенія содержаніе должно оказаться совершенно не подлежащимъ изслѣдованію языковѣдовъ, такъ какъ они изучаютъ именно тѣ формы, которыя оказываются устраненными изъ опредѣленія предложенія. Посмотримъ напр., что даетъ языковѣду Вундтово опредѣленіе предложенія. Предложеніе есть, по его мнѣнію, „языковое выра-

женіе произвольнаго расчлененія цѣлаго сложнаго представленія на составныя части, поставленныя въ логическія отношенія другъ къ другу“ (см. выше, стр. 233). Кромѣ словъ „языковое выраженіе“ все остальное въ этомъ опредѣленіи въ сущности не касается языка. Языковѣдъ изслѣдуетъ специально природу этого „языкового выраженія“, и для него важнѣе всего вопросъ, *какъ* выражается, а не вопросъ, *что* выражается. Въ этомъ же опредѣленіи предложенія центръ тяжести лежитъ именно во второй половинѣ. Грамматическое опредѣленіе предложенія должно было-бы принять во вниманіе по крайней мѣрѣ хоть главныя грамматическія категорія, въ немъ разившіяся, и ими его опредѣлить. Это необходимо потому, что форму нельзя опредѣлять содержаніемъ; а предложеніе — это несомнѣнно форма. Такимъ образомъ для языковѣда это опредѣленіе сводится въ сущности къ опредѣленію языка, и является косвеннымъ выраженіемъ той совершенно правильной мысли, что всѣ явленія языка совершаются въ предложеніи. Если мы припомнимъ то, что выше было сказано о грамматическихъ категоріяхъ, намъ станетъ совершенно понятнымъ, почему Вундтъ далъ такое опредѣленіе предложенія. Если онъ въ отдѣльныхъ грамматическихъ категоріяхъ обращаетъ главное вниманіе на ихъ „логическую основу“ въ указанномъ выше смыслѣ, то, конечно, и въ предложеніи его должна интересовать не форма, а его содержаніе, не самое языковое выраженіе (которое собственно и есть предложеніе), а то, что имъ выражается. Ошибка та-же, какъ и въ опредѣленіи грамматическихъ категорій, только еще большая по своему объему, такъ какъ она содержитъ въ себѣ въ скрытой формѣ столь же ложное опредѣленіе *всѣхъ* грамматическихъ категорій, возникающихъ въ предложеніи.

Справедливо то, что въ основѣ предложенія лежатъ тѣ логическіе и психологическіе процессы, которые Вундтъ отмѣтилъ въ своемъ опредѣленіи предложенія; но это не позволяетъ намъ смѣшивать самое предложеніе съ этими процессами. Какъ бы точно мы ни анализировали эти процессы, о предложеніи мы не получимъ изъ такого опредѣленія никакого понятія. Я не хочу этимъ вовсе сказать,

что языковѣду и не нужно знать этихъ процессовъ; напротивъ, я димаю, что заслуга Вундта и заключается въ анализѣ психологическихъ основъ предложенія; но я утверждаю, что этимъ анализомъ не затрогивается и не опредѣляется предложеніе, и потому языковѣдамъ не слѣдуетъ считать вопросъ о предложеніи разрѣшеннымъ. Въ анализѣ психологическихъ основъ предложенія Вундтъ опять таки имѣлъ предшественниковъ, говорившихъ въ сущности тоже самое. Такъ напр., если ф.-д. Габеленцъ опредѣляетъ человѣческой языкъ, какъ „расчлененное выражение мысли при помощи звуковъ“ (*der gegliederte Ausdruck des Gedankens durch Laute*), то это почти вполнѣ совпадаетъ съ Вундтовымъ опредѣленіемъ предложенія. Разница только въ томъ, что Вундтово опредѣленіе нѣсколько подробнѣе развиваетъ ту же мысль, да въ томъ, что оно отнесено не къ языку, а къ предложенію. Но Габеленцъ по моему ближе къ истинѣ и не дѣлаетъ той ошибки, въ какую впадаетъ Вундтъ. Габеленцъ говоритъ о человѣческомъ языкѣ вообще, а въ такомъ случаѣ подъ языкомъ можно разумѣть только человѣческую способность, и здѣсь вполнѣ законно указаніе на аналитическую способность человѣка, находящую свое выраженіе въ языкѣ; тутъ логико-психологически опредѣляется логико-психологическое понятіе. У Вундта почти тоже самое психологическое опредѣленіе дано грамматической формѣ рѣчи, и въ этомъ мы, конечно, должны видѣть не прогрессъ, а регрессъ.

## V.

Мы не будемъ останавливаться на разборѣ тѣхъ ошибокъ, которыя, на нашъ взглядъ, вытекаютъ изъ разобраннаго выше смѣшенія грамматическихъ категорій съ ихъ психологическою основою. Эти ошибки прекрасно иллюстрируютъ приведенныя выше соображенія; но, такъ какъ при разборѣ ихъ пришлось бы повторять въ сущности

то-же самое, то я ограничусь лишь самыми краткими указаниями, отсылая любопытствующаго читателя непосредственно къ тексту Вундта. Разбирая значеніе грамматическаго рода, Вундтъ приходитъ къ тому заключенію, что въ основѣ его лежитъ „простое различеніе достоинства“ (die einfache Werthunterscheidung; II, 19—24). Такимъ образомъ къ прежнимъ неудачнымъ попыткамъ выяснитъ основное значеніе грамматическаго рода Вундтъ прибавляетъ новую, столь же мало убѣдительную. Причина неудачи та, что къ этому выводу приходитъ онъ тѣмъ же умозрительнымъ путемъ, отыскивая наиболѣе широкую категорію, подъ которую могли-бы быть подведены всѣ значенія этой грамматической категоріи. Первоначальное значеніе родительнаго падежа опредѣляетъ Вундтъ, какъ „отношеніе владѣтеля къ имуществу“ (II, 91). Здѣсь уже юридическія отношенія опредѣляютъ грамматическую форму. Опять — ошибка старая и уже давно выясненная. Вообще анти-историческое направленіе Вундта, специально въ области ученія о падежахъ, прекрасно охарактеризовалъ Дельбрюкъ слѣдующими словами (Grundfragen, 128): „Не слѣдуетъ поэтому слишкомъ много вкладывать въ значеніе слова „развитіе“ [у Вундта]. Практически это не что иное, какъ классификація и оцѣнка встрѣчающихся въ языкахъ падежныхъ системъ, и при томъ главнымъ образомъ съ той точки зрѣнія, представляется-ли данный падежъ такъ называемымъ логико-грамматическимъ или локальнымъ падежемъ“. На другихъ примѣрахъ подобнаго рода я уже не стану вовсе останавливаться.

Однако оцѣнка книги Вундта была-бы совершенно несправедлива, если-бы мы не обратили вовсе вниманія на ту сторону ея, въ которой Вундтъ является наиболѣе сильнымъ, именно на сторону чисто психологическую. Мы уже раньше не разъ встрѣчались съ этой стороной, и я обращалъ вниманіе на то, что не могу согласиться съ Вундтомъ относительно границъ между психологіей и грамматикой, между психологіей и языкомъ. Взгляды Вундта во всѣхъ подобныхъ случаяхъ казались мнѣ чрезмѣрно психологическими: психологическая сторона явленія переносилась и

на самое языковое выраженіе ея. Но я неоднократно повторялъ и то, что вполне признаю и понимаю важность изслѣдованія психологической основы языка. Я совершенно согласенъ съ Вундтомъ въ томъ, что такія изслѣдованія имѣютъ не только прикладное значеніе для языковѣдцевъ, но и самостоятельный интересъ для психологовъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что изслѣдованія Вундта имѣютъ весьма серьезное значеніе въ обоихъ этихъ отношеніяхъ. Какъ не специалистъ въ вопросахъ психологіи, я не стану и пытаться давать оцѣнку его книги съ этой стороны. Однако есть цѣлый рядъ вопросовъ, въ которыхъ психологъ является столь же компетентнымъ, какъ и лингвистъ, и которые все же относятся скорѣе къ области языкознанія, нежели къ психологіи. Это такъ называемые вопросы общаго языкознанія, сходящіяся, какъ къ центру, къ вопросу о происхожденіи языка. Замѣчательно, что въ этихъ вопросахъ въ большинствѣ случаевъ правда, по моему мнѣнію, на сторонѣ Вундта. И это совершенно понятно. Вопросы общаго языкознанія имѣютъ въ виду не столько самую языковую форму, сколько человѣческую способность рѣчи вообще; а въ изслѣдованіи этой способности, конечно, психологъ во многихъ случаяхъ можетъ легче проникнуть въ глубь явленія, нежели лингвистъ. Этимъ, мнѣ кажется, слѣдуетъ объяснить то, что въ вопросѣ о происхожденіи языка Вундтъ во многомъ ближе къ истинѣ, нежели Дельбрюкъ.

Спеціально вопросу о происхожденіи языка посвящены у Вундта лишь немногія заключительныя страницы (II, 584—614). Это объясняется его отношеніемъ къ вопросу. Было время, когда проблема происхожденія языка составляла единственное содержаніе такъ называемой „философіи языка“, когда интересовались „не явленіями и законами дѣйствительно существующаго языка, а его возможнымъ возникновеніемъ“. Задача такого изслѣдованія заключалась не въ области языка, а въ до-языковомъ періодѣ. Иначе относится къ этой проблемѣ психологія. „Предположеніе такого состоянія, въ которомъ человѣкъ былъ лишень не только языка, но и всѣхъ тѣхъ свойствъ, изъ которыхъ языкъ долженъ былъ возникнуть, такое предположеніе для

психологіи есть пустая и ни къ чему не ведущая фикція, такъ какъ она устраняетъ тѣ условія, которыя только и даютъ возможность понять существованіе языка. Если психологія языка, психологически анализируя и объясняя дѣйствительныя формы развитія языка, находитъ себѣ мѣсто только въ границахъ области языковыхъ явленій, то для нея въ сущности вовсе не существуетъ особой, отдѣлимой отъ этихъ изслѣдованій проблемы происхожденія языка. Наоборотъ, рѣшеніе этой проблемы, насколько вообще оно возможно, должно заключаться въ выводахъ относительно связей и причинъ дѣйствительныхъ языковыхъ явленій“ . . . Въ этомъ смыслѣ посильнымъ отвѣтомъ на вопросъ о происхожденіи языка служить вся работа Вундта, и, если онъ обращается къ этой проблемѣ въ спеціальной главѣ, то это дѣлается, во 1-хъ, для того, чтобы подвергнуть критическому разбору существующія теоріи происхожденія языка, и во 2-ыхъ, для того, чтобы вкратцѣ свести воедино главные выводы своего изслѣдованія, относящіеся къ этому вопросу.

Всѣ теоріи происхожденія языка Вундтъ дѣлитъ на четыре типа: 1) теорія изобрѣтенія (*Erfindungstheorie*), 2) теорія подражанія (*Nachahmungstheorie*), 3) теорія естественнаго звука (*Naturlauttheorie*) и 4) теорія чудеснаго происхожденія (*Wundertheorie*). Не останавливаясь на критикѣ этихъ теорій, мы перейдемъ непосредственно къ собственной теоріи Вундта, которая вытекаетъ изъ „общихъ выводовъ психологическаго изслѣдованія“ и которую онъ называетъ теоріей развитія (*Entwicklungstheorie*). Этимъ названіемъ онъ хочетъ сказать, что эта теорія исходитъ единственно изъ разсмотрѣнія „дѣйствительнаго развитія языка, насколько оно намъ доступно въ наблюдении измѣненій существующихъ языковъ или возникновенія новыхъ языковыхъ формъ изъ прежнихъ, и изъ тѣхъ свойствъ человѣческаго сознанія, которыя оно имѣетъ на доступныхъ нашему непосредственному наблюденію ступеняхъ“ (II, 604). Такимъ образомъ Вундтъ противопоставляетъ трезво-эмпирическую теорію развитія, другимъ умозрительнымъ построеніямъ возможнаго развитія языка.

Предшествуетъ-ли языкъ мысли или мысль языку, это

Вундтъ считаетъ вопросомъ празднымъ. „Развитіе чело-  
вѣческаго сознанія включаетъ въ себя и развитіе вырази-  
тельныхъ движеній, жестовъ, языка, и на каждой изъ  
этихъ ступеней представленія, чувства и мысли выража-  
ются въ точно имъ соотвѣтствующей формѣ: это выраженіе  
само принадлежитъ къ той психологической функціи,  
внѣшнимъ признакомъ которой оно является; оно ни слѣ-  
дуетъ за нею, ни предшествуетъ ей. Съ той минуты когда  
возникаетъ языкъ, онъ является поэтому объективною  
мѣрою выражающагося въ немъ развитія мышленія; но  
онъ является таковою мѣрою только потому, что онъ самъ  
составляетъ необходимую составную часть функцій мышле-  
нія . . . Поэтому нѣтъ абсолютной границы между язы-  
комъ и естественнымъ состояніемъ, лишеннымъ языка“  
(II, 605). Здѣсь Вундтъ снова возвращается къ установлен-  
ному имъ въ началѣ изслѣдованія тождеству языка и вы-  
разительныхъ движеній. „Гдѣ существуетъ какая-либо  
совокупность психическихъ явленій, слѣдовательно со-  
знаніе, тамъ существуетъ и движенія, во внѣ выражающія  
эти явленія. Эти внѣшніе признаки психической жизни  
сопровождаютъ ее на каждой ступени развитія и есте-  
ственно совершенствуются вмѣстѣ съ содержаніемъ, съ  
которымъ они связаны. Конечно, между сознаніемъ даже  
самой низкой челоуѣческой расы и сознаніемъ самаго со-  
вершеннаго животнаго существуетъ такая пропасть, ко-  
торую мы не въ состояніи заполнить фактами наблюденія.  
Однако она не такова, чтобы можно было сказать, что на-  
чинающееся въ челоуѣкѣ развитіе не подготовлено раз-  
личными предшествующими ступенями въ мірѣ животныхъ.  
То же, что можно сказать въ этомъ отношеніи о психиче-  
скихъ функціяхъ вообще, тоже имѣетъ значеніе и для вы-  
разительныхъ движеній, которыя принадлежатъ къ нимъ,  
какъ ихъ естественный придатокъ; потому языкъ есть не  
что иное, какъ такой видъ выразительныхъ движеній, ко-  
торый вполне соотвѣтствуетъ челоуѣческой ступени раз-  
витія сознанія. Это челоуѣческое сознаніе настолько же  
немыслимо безъ языка, какъ и языкъ немислимъ безъ че-  
лоуѣческаго сознанія“ (II, 605—606).

Мы уже знаемъ, какое значеніе придаетъ Вундтъ „языку жестовъ“ въ эволюціи языка. Мы видѣли также, что дальнѣйшею ступеню въ развитіи языка онъ признаетъ „звуковой жестъ“ (Lautgeberde), или лучше сказать артикуляціонный жестъ: не звукъ стоитъ въ непосредственной связи съ обозначаемымъ предметомъ, а движеніе органовъ произношенія. По этому-то такъ трудно бываетъ провести въ языкѣ принципъ звукоподражанія: подражательность, изобразительность слова заключается въ движеніяхъ органовъ рѣчи и въ другихъ мимическихъ и пантомимическихъ жестахъ, сопровождающихъ душевныя движенія, я не въ самомъ звукѣ. Въ подробномъ развитіи этой мысли и заключается главная оригинальность Вундтовой теоріи происхожденія и развитія языка. Онъ заключаетъ свой краткій обзоръ эволюціи языка слѣдующими словами: „Такимъ образомъ во всемъ, что составляетъ существо языка, въ образованіи словъ, въ строѣ предложенія и въ измѣненіи значеній, онъ является не только внѣшнимъ выраженіемъ всеобщихъ явленій сознанія, но и необходимою частью ихъ проявленія (deren nothwendige Theilerscheinung). Предшествующія главы старались истолковать главнѣйшія языковыя явленія именно въ этомъ смыслѣ, то есть, какъ функціи челоувѣческаго сознанія, въ которыхъ проявляются основные законы развитія этого сознанія“ (II, 609).

Въ дальнѣйшемъ развитіи языка Вундтъ придаетъ большое значеніе взаимному вліянію языковъ другъ на друга, усвоенію народомъ чуждаго ему языка и другимъ подобнымъ явленіямъ, на которыя уже обращено должное вниманіе языковѣдами. Въ своемъ скептическомъ отношеніи къ построенію праязыка, первоначальнаго индоевропейскаго народа, его прародины и культуры Вундтъ также очень близко подходитъ къ современнымъ языковѣдамъ. На этихъ вопросахъ мы поэтому останавливаться уже не станемъ.

Подводя итоги всему тому, что выше было изложено, я снова обращаю внимание на те пункты, против которых главным образом были направлены мои возражения. Можно сказать, что все они имели в виду выяснить границы психологии и языкознания, или, по терминологии Вундта, психологии и истории языка. Разногласия между Вундтом и языковѣдами естественно объясняются смѣшеніемъ психологической основы языка съ звуковой формой выражения. Въ сущности, когда Вундтъ говоритъ о психологии языка, онъ имѣетъ въ виду совсѣмъ не то, что разумѣетъ подъ этимъ терминомъ языковѣдъ. Толкуя языковыя явленія, „какъ функціи человѣческаго сознанія“, Вундтъ необходимо долженъ отвлекаться отъ дѣйствительныхъ, историческихъ звуковыхъ выраженій языковыхъ явленій: онъ говоритъ въ такомъ случаѣ не о звуковыхъ формахъ выражения явленій человѣческаго сознанія, а о болѣе общихъ категоріяхъ. Языкъ понимается имъ какъ психическая способность. Отсюда совершенно понятенъ переходъ къ логическимъ категоріямъ, понятенъ выборъ изъ грамматическихъ категорій только самыхъ общихъ, т. е. самыхъ удобныхъ для цѣлей наблюденія этихъ способностей, и т. д. Если бы вопросъ былъ такъ именно и поставленъ, то, конечно, Вундтъ не впалъ бы въ те ошибки, на которыхъ мы останавливались раньше. Но основная ошибка Вундта заключается въ томъ, что онъ перенесъ эти свои психологическія возрѣнія въ область грамматики. Если стараться опредѣлить предложеніе „какъ функцію человѣческаго сознанія“, то, конечно, нельзя придти ни къ чему другому, кромѣ логическаго сужденія. Отсюда понятно стараніе Вундта снова сблизить предложеніе и сужденіе. Какъ философъ, Вундтъ старается быть послѣдовательнымъ, и основная ошибка его сказывается въ цѣломъ рядѣ неправильныхъ толкованій грамматическихъ категорій.

Нельзя не обратить вниманія также и на то, что на взгляды Вундта оказываетъ самое рѣшительное вліяніе „народная психологія“, которую онъ старается во что бы то ни стало сдѣлать самостоятельной наукой. Оттого, на

мой взглядъ, онъ такъ рѣшительно возстаеъ противъ взглядовъ языковѣдовъ на психологию языка, какъ на вспомогательную дисциплину. Онъ старается отстоять ея самостоятельность, и для того расширяетъ понятіе языка на жесты, даже, можно сказать, превращаетъ языкъ въ выразительныя движенія; однимъ словомъ становится на такую точку зрѣнія, которую самъ же не можетъ послѣдовательно провести. Въ этомъ, по моему, заключаются основныя ошибки Вундта, что я и хотѣлъ доказать предшествующимъ разборомъ. Смѣшеніе, снова вносимое вслѣдствіе этого въ языкознаніе, конечно, можетъ только вредно отразиться на его развитіи. Крупный авторитетъ Вундта можетъ здѣсь только ухудшить дѣло.

Но изслѣдованіе психологическихъ основъ языка составляетъ несомнѣнно самую цѣнную сторону книги Вундта. Въ предыдущемъ разборѣ я не разъ обращалъ вниманіе на это и теперь въ заключеніе считаю долгомъ повторить свой взглядъ. Для языковѣдовъ весьма важно познакомиться съ этими психологическими основами языка, и для изученія этихъ основъ не имѣютъ почти никакого значенія тѣ границы, которыя необходимо долженъ себѣ поставить языковѣдъ. Изученіе языка, какъ особаго вида выразительныхъ движеній, необходимо требуетъ также и изученія жестовъ, которыя однако вовсе не должны по этому причисляться къ языку. Въ этомъ смыслѣ глава о жестахъ вполне законно нашла себѣ мѣсто въ трудѣ Вундта. Такъ же точно и въ другихъ вопросахъ: нужно помнить только, что Вундтъ злоупотребляетъ грамматической и вообще лингвистической терминологіей, и, устранивъ эти неточности, читатель въ каждой главѣ книги Вундта найдетъ много для себя поучительнаго. Рекомендовать ее языковѣдамъ для внимательнаго изученія мнѣ кажется тѣмъ болѣе желательнымъ, что имъ легче, чѣмъ кому-либо устранить эти неточности.